

Юрий Панов

# СИБЛАГ ГУЛАГа

Документальная  
повесть

## Об авторе

Прежде чем вынести на суд читателей документальное, трагическое полотно повествования о "СибЛаге ГУЛАГа", несколько слов об авторе - Юрии Панове. Вот что он рассказал о себе.

"Родился я в маленькой, затерявшейся в березовых лесах деревеньке Подкопненное Промышленновского района Кемеровской области. На всю катушку познал голодное военное и послевоенное лихолетье.

С детства очень увлекся живописью, участвовал в серьезных выставках и мог стать профессиональным художником. Но была и вторая тяга - писать. Она и победила в концов концов. Это уже в областном центре - с десяти лет я жил в Кемерове. До сих пор считаю его своим родным городом. Он дал мне все.

Не судим (Бог миловал!), не состоял, не вступал, не имел. Со множествами НЕ и далее.

В областных газетах печататься стал очень рано, но как художник. Горжусь тем, что иллюстрировал поэму известного кузбасского поэта Евгения Буравлева "Первая плавка" в газете "Комсомолец Кузбасса" - почти полгода из номера в номер. Автор был очень доволен моими рисунками. Своим учителем, духовным отцом в литературе считаю автора романа "Земля Кузнецкая" Александра Никитича Волошина, ныне несправедливо забытого. На учителей и добрых людей мне в жизни очень повезло...".

Добавлю: потому повезло Юрию Панову на добрых людей, что он сам предельно бескорыстный, открытый, любящий жизнь во всем ее многообразии. Он - товарищ до конца. Знаю его много лет по журналистскому перу, работали вместе в одной из районных газет нашей области. Панов выручал газету в любой ситуации: он не только рисовал, писал, он никогда не расставался с фотоаппаратом.

Вот этому разносторонне одаренному человеку и было велено Судьбой взвалить на себя громоздкую ношу исследователя десятков судеб, прошедших через "СибЛag ГУЛАГа".

Передо мной - рукопись почти в 700 машинопечатных страниц! И это только часть его наработок, посвященная тем людям, кто стоял у истоков создания города Победы - так замышлялось назвать нынешний город Междуреченск.

Редакция газеты "Кузбасс" сразу оговаривается: опубликовать столь огромный труд Юрия Панова полностью, к сожалению, не сможет. Предлагаем вам газетный вариант. А полная книга нашего автора - брата-журналиста - ждет своего издателя. И, поверьте, этот издатель не прогадает. Исследования Юрия Панова - это ранее неизвестная страница нашей истории. Окунемся в нее.

**Анатолий ПАРШИНЦЕВ,**  
журналист.

## Предисловие

... "Незнакомый и далекий друг! - писал ты мне. - Я один из тех, кто отбывал в том самом лагере. Я - 3-311...".

... В первых числах января пятьдесят третьего года в моих родных краях стояли лютые морозы. словно вся матушка Сибирь была покрыта сплошным ледовым панцирем. В тайге - ни птицы, ни зверя! словно все живое вымерло. И леденящая душу тишина! казалось: произнеси слово, и оно рассыплется, как тонкое стекло.

В такой вот день я впервые увидел людей-привидений. Они шли колонна за колонной, запорошенные, заиндевевшие, с закрытыми "намордниками" лицами, с номерами на шапках, на груди, на спине, на рукаве...

Сопровождали их такие же запорошенные снегом-инеем солдаты в длиннополых, до пят, тулупах, с автоматами, с собаками.

Я стоял потрясенный, онемевший от "ледяного" шествия передо мной "ледяных" людей, сгорбленных, еле передвигающих в единый такт ноги.

Ша-а-арк! Ша-а-рк!

Шествие нарастало, и ужас от надвигающейся на меня, тринадцатилетнего мальчишку, многотысячной толпы охватывал все больше и больше. Я не чувствовал мороза, мне становилось жарко от грохота тысяч ног по насквозь промерзшему бревенчатому насту. Я смотрел на видение, которое осталось во мне на всю оставшуюся жизнь, как самая яркая картина, какую мне приходилось видеть все последующие за тем сорок с лишним лет...

Ша-а-арк! Ша-ар-арк! - уходила последняя колонна. Мне показалось, что один из "ледяных" людей-привидений вдруг обернулся и посмотрел на меня сквозь прорези своего заиндевевшего "намордника", словно хотел запомнить или узнать во мне сына или брата...

Сейчас, закрыв глаза и отчетливо представив ту "картинку", мне хочется закричать:

" Кя-а-сту-у-у-тис!

И уже совершенно замерзшими губами того мальчика из пятьдесят третьего я чуть слышно шепчу тебе слова, какие не успел, не догадался тогда произнести, как молитву, как заклинание:

- Ты слышишь меня, Кястутис? Мы с тобой встретимся! Я разыщу тебя. Через сорок лет ты вернешься на землю, где прошла твоя горькая молодость, на мою Родину для встречи с тем мальчишкой. Ты запомнил меня тогда? Я шептал тебе вслед: "Живи! Выдержи все морозы моей холодной Родины, пусть тебя минует пуля охранника, пусть тебя не коснется нож Грека или Рябого. Будь, Кястутис! Ты обязан вернуться на свою тихую и светлую Родину. Тебе еще много предстоит сделать, чтобы твоя родная Литва стала свободной и счастливой. И когда-нибудь я побываю в той, словно умытой утренним светом, твоей стране...

В ту ночь я тяжело заболел. Не от простуды. Пришедший из зоны расконвоированный врач сказал, что это потрясение от увиденного. "Это пройдет. Видимо, мальчик впервые видел зэков так близко. Это и для взрослого со слабыми нервами тяжело, а он еще ребенок, и к тому же впечатлительный".

Моя постель была у окна. Помнишь, как зимой у нас промерзали стекла? Наледь толщиной в два пальца! Я ртом, горячим своим дыханием, ладонью отогревал кругляшку-глазок и смотрел на ту страшную зону. Я думал о том зэке, который вдруг обернулся и посмотрел на меня своей ледяной маской с двумя прорезями для глаз. Сейчас-то я уверен, что это был ты, Кястутис!

А в ту ночь, в той зоне, в том бараке, за теми окнами на втором этаже, что светились слабым восковым светом сквозь толщу мерзлоты, ты лежал на верхних нарах с закрытыми глазами и перед тобой плыли...

"наша бригада, - писал ты мне в одном из своих первых писем, - жила в секции второго этажа. Через окно хорошо были видны вахта и небольшой поселок из финских домов на пригорке, у подножия Лысой горы. Часто по ночам, когда мужики, уставшие после тяжелого труда, во время сна ругались, молились, смеялись или плакали, я в своих мыслях был за пять тысяч километров от того барака в родной Литве, в родном Пренай, босыми ногами ступал по берегу реки Немус, в лесах Друбенгиса, навещал своих... Иногда так до утра и не засыпал. В тех думах становилось так тяжело, так сжималось сердце, что, казалось, отдал бы полжизни за возможность хотя бы одним глазом увидеть все то наяву. И думал, что умирать тут, в этой насквозь промерзшей Сибири, литовцу нельзя. Он даже на коленях должен доползти в край отцов, на землю предков и посыпать свой пепел где-нибудь на перекрестке дорог под крестом или под деревом, чтобы оно пышно зазеленело весной и украшало мою родную землю".

Ша-а-арк! Ша-а-арк!

Утром вас вели в такую же гигантскую зону, которая была в километре от вашей жилой, на строительство обогатительной фабрики. Я заснул в то время, когда ты, минуя вахту, помчал разжигать побелевшую от мороза "буржуйку", чтобы согреться самому и уступить место своему товарищу по несчастью.

Сквозь сон в жарко натопленной избе я слышал вот такой разговор:

- Сегодня ночью опять ээки тащили ящик в гору, тя-я-же-ленный!

- Какой ящик?

- Трупы ээков в них таскают. А ты еще не видела? Поживешь, увидишь! Они там друг друга по ночам режут да мрут, как мухи, ээки их же и хоронят. Вчера, говорят, двоих еще пристрелили, на запретку рванули, жить им надоело! Да повешался из литовцев один, профессором, говорят, был большим.

- Мороз-то какой! Как же они могилу за ночь-то выкопают?

- Какую могилу! Кто их по-людски-то хоронит? В сугроб бросят, и - до весны! Весной, как снег сойдет, их же, зэков, заставят те трупы кое-как присыпать, чтоб собаки кости по поселку не таскали. Мы уж вторую зиму здесь живем, насмотрелись...

- Так же люди!

- Каки люди? Уркаганы, да полицаи, да бендеровцы, да предатели и шпионы, да эти "лесные братья" из Литвы, изменщики Родины, а ты - люди! Кто их за людей считает? Мой говорит: я бы их всех, дай мне власть, всех перестрелял. Да вот шахту, да обогатилровку, да дома пусть, вражины, сначала построят, а там, говорит, с ними шашни-машни разводить не будут, вон в Шарапов лог - и дело в концом.

У меня начался жар, я начал в бреду что-то кричать, голоса исчезли.

Еще через день меня увозили в Сталинск (Новокузнецк) на вокзал. Мои новогодние каникулы кончались. Я жил в областном центре. И в нашем городе, как и во всех городах Кузбасса, было множество лагерей, но они находились на окраинах. А тюрьма в Кемерове стояла в самом центре города, я мимо ее высокого забора каждый день ходил в школу. Сейчас на этом месте центральный корпус университета. Лагеря были и в самых отдаленных уголках тайги. Следы от них остались. Великую тайну хранят те места до сих пор. Помню, в легковой машине я спрашивал какого-то военного начальника о тех людях с номерами. "Это не люди! У них даже имени нет. Ты видел на них номера? Это и есть их имена, фамилии и отчества". Всю оставшуюся дорогу я больше не задавал вопросов...

Мы встретились с тобой, Кястутис, через сорок лет. В аэропорту Новокузнецка. Я сразу узнал тебя, не видел до этого никогда. Ты представил мне своих друзей - профессора Альгиса Гениушаса и доктора Эдуардаса Разгаускаса. С Альгисом мы до того уже переписывались. Я сказал, что, к сожалению, вам очень не повезло - у нас начались традиционные декабрьские морозы. Но ты меня успокоил и заверил, что сорок лет назад вы здесь пережили морозы пострашнее.

Мой город Междуреченск вас принял в объятия, встретил как родных и желанных гостей. И не потому еще, что вы, литовцы, очень поддержали нас во время шахтерской забастовки и морально, и материально. Тогда в мой город вы выслали сотни посылок. "Держитесь, ребята, мы с вами!" - кричали ваши телеграммы. В моем городе вы оставили много. Помнишь, мы ночью шли в гостиницу? Альгис узнал свою работу - лепные украшения на домах Коммунистического проспекта. Через сорок лет узнал! С нами был мой товарищ с телевидения, но у него не было камеры, чтобы засвидетельствовать как документ для тех, кто утверждает, что город строили комсомольцы-добровольцы.

"Альгис вспомнил всех, кто в помещении комбината строящейся шахты "Томусинская-1-2" отливал эти украшения - великого поэта Литвы Антанаса Мишкиниса и известного переводчика древней литературы, очень милого Антанаса Дамбраускаса (я с ним познакомился через месяц после той ночи в Друскининкае). Сейчас я могу назвать уже десятки имен непокорных сынов Литвы, которые строили здесь шахту, валили лес, возвели обогатительную фабрику и жилые дома "для шахтеров". Я не случайно взял эти слова в кавычки. В них всегда жила и живет (теперь уже бывшая!) партийная и советская номенклатура, местная элита, "золотой фонд".

Вы встречались с теми ребятами-шахтерами, которые в жарком июле 1989 года вывели многотысячную братву на раскаленную площадь. Какие это были красивые парни! И это они с первой информацией о январских событиях в Вильнюсе на весь мир крикнули из своих забоев: "Держитесь, шахтеры Кузбасса с вами!" И тот голос был услышан и остудил горячие головы будущих путчистов.

Ты писал мне: "Дорогой друг! Мы счастливы, что на той земле, где прошла наша номерная молодость, проросли такие побеги. Мы гордимся вами".

В городском рабочем комитете вам показали трехцветное полотнище - российский флаг. Хочу сказать тебе, что это полотнище было сшито и поднято над горсоветом в первые часы августовского путча. Шахтеры вышли из забоев и встали "до упора". Десятки



самолетов из городов Кузбасса везли парней на защиту российского Белого дома. Ваш январский опыт нам пригодился. Мы победили!

## **Томуса.**

Томуса. В ста километрах от Новокузнецка, в месте слияния Томи и Усы, во второй половине сороковых годов появилось это географическое понятие. Официально название конкретной местности не призналось и, естественно, ни на одной карте отмечено не было. Но пойма и прилегающие к ней территории более трех десятков лет в народе иначе, как Томуса, не назывались. От прежнего названия остались названия угольного месторождения, угольного разреза, автобазы, строительного треста, ГРЭС. В борьбе за выживание Томуса уступила только официальному названию города - Междуреченск. Произошло это в результате волевого решения одного угольного генерала, министра угольной промышленности СССР Засядько. Прибывший сюда с большой свитой сопровождающих его лиц в пятьдесят втором году министр впервые произнес это слово. Местное и областное начальство вначале шепотом, а потом и вслух стало передавать это слово все дальше и дальше. Произнесенное в пойме между двух рек слово аукнулось в столице, и появилось название города уже под указом.

Произошло это так. Высокий московский гость во время своего визита в угольный Кузбасс не мог не посетить и богатейшее месторождение в Томусе. Не вдруг и не случайно. Мы обязаны быть справедливыми, ибо Засядько был отцом своего детища - освоения месторождения. Именно он в 47-м году вышел на Политбюро с предложением о начале строительства шахт на юге Кузбассе. Страна нуждалась в коксующихся углях, энергетических. И то, и другое здесь имелось в несметных количествах. Большая часть свиты пластов выходила на поверхность или залегала на небольшой глубине. Это позволяло строить здесь и гигантские угольные разрезы. Мощные пласты с низким углом падения сулили министру тугие лавры. На том Политбюро из уст министра появилось еще одно определение Томусы - жемчужина Кузбасса. Оттуда это пошло. И много лет так и было.

Изыскательские работы были полностью завершены здесь еще в годы войны. Тогда же в официальных отчетах появился и первый намек на то, что сюда надо будет привлекать десятки тысяч рабочих, необходимо в кратчайшие сроки построить город, ГРЭС. Свой многолетний труд геологи назвали Томусинским угольным месторождением, автором которого стал известный в нашей стране геолог Василий Иванович Яворский.

На высоком Политбюро предложение министра Засядько было одобрено без единого возражения. Страна наращивала мощь, в том числе и военную. Требовалось все больше металла. Но его без кокса, без энергетического угля не получишь. Очевидно, был поставлен вопрос: "Где взять десятки тысяч рабочих рук?" Я не располагаю документом заседания того Политбюро, но нетрудно предположить, что этот вопрос поручили решить Лаврентию Павловичу Берия и его первому сподручному Абакумову. Их задача - новый поход "отца всех народов" на "остатки эксплуататорских классов". На состоявшемся накануне пленуме Сталин выступил с очередной разоблачительной речью: "Чем больше мы будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успех, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее они будут идти на острие форм борьбы, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последнее средство обреченных".

Дальше последовала еще одна знаменательная фраза: "Врагов мы будем в будущем разбивать так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом!".

За речью последовали действия. В январе 1948 года Сталин вызвал к себе министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова и отдал распоряжение: продумать "конкретные мероприятия" по созданию новых, дополнительных лагерей и тюрем особого назначения.

- В феврале доложите проект решения,- подытожил Сталин. - Для троцкистов, меньшевиков, эсеров, анархистов, белоэмигрантов, террористов и всякой сволочи, кто не доволен нашей советской властью, необходимо создать особые условия. ты понимаешь меня, для чего?

- Так точно, товарищ Сталин, давно пора! Все исполню, товарищ Сталин, все исполню, - несколько раз повторил послушный бериевский функционер.

Круглов не заставил себя долго ждать. В середине февраля секретарь Сталина положил своему шефу документ.

"Центральный Комитет ВКП(б).

Товарищу Сталину И. В.

В соответствии с Вашими указаниями при этом представляю проект постановления Совета Министров об организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников и о направлении их по отбытию наказания на поселение в отдаленные места СССР.

Просим Вашего решения.

В. Абакумов. С. Круглов".

Томуса.

Строить лагеря Особого назначения проектом предусматривалось и в Томусе. А для их строительства в этот район устремились эшелоны с заключенными. перед отправкой им сказали, что их ждет почетная миссия - они едут строить город Победа. Об этом утверждают все узники томусинских лагерей, ныне проживающие в Междуреченске. Где они будут строить новый город, им, естественно, не сказали.

Это название будущего города жило не только в палатках, юртах, землянках, где первые два года отбывали заключенные, но и у администрации лагерей, вольных чиновников-шахтостроителей. Дожило оно до приезда высокого гостя из Москвы.

- Какая Победа? - возмутился министр Засядько. - Город будет расположен, как вы мне только что показали, в пойме между двух рек, так вы и назовите этот город Междуреченском. Просто и понятно. А то выдумали - По-бе-да!

- Междуреченск! А что? Звучит неплохо. Междуреченск! - повторяли, как пробу на звук, секретарь обкома и его помощники, секретари рангом пониже.

- Междуреченск! И никак иначе! - утвердительно сказал министр.

За Междуреченск и выпили у слияния двух рек. Никто уже не возвращался к старому разговору.

Но мы вернемся в 1948 год. В связи со строительством в наших краях по тем временам угольного гиганта, шахты "Томусинская", на стол Берии ложится вот такое ходатайство:

"Товарищу Берии Л. П.

Для развертывания строительства шахты и обогатительной фабрики и лагеря на пять тысяч человек выделить 30000 метров брезента для пошива палаток и 50 тонн колючей проволоки.

22 марта 1948 года. А. Задемидко".

Но заместитель министра угольной промышленности не все знал. Лагерь в Ольжерасе, "контингент" которого должен был начать строительство первых угольных предприятий в Томусе, был рассчитан на шесть с половиной тысяч заключенных. Но все по порядку.

За год до "троцкистов" и прочей "нечисти" вышел указ от "шестого седьмого". Видимо, вожди уже тогда были обеспокоены обеспечением многочисленных заявок министров и руководителей ведомств на бесплатную рабочую силу. Берия постоянно докладывал о том, что заявки наркоматов на рабочую силу из числа спецконтингента столь велики, несмотря на его рост, удовлетворить эти просьбы не представляется возможным. Тогда-то и родился этот указ. По нему можно было практически пересадить всю голодную страну.

За несколько колосков с колхозного поля вдова, мать десятерых детей, получила свои пять лет заключения. Ту статью в народе быстро назвали "за колоски". Проблема с бесплатной рабочей силой на время была снята. Лагеря создавались на пустом месте, часто в глухой тайге, отдаленно от больших и малых дорог. Стране нужен был лес. В большом, причем, количестве. Ставились юрты, редко палатки, рылись землянки. Сначала такие лагеря отгораживались от внешнего мира жердями, как молодняк крупнорогатого скота на летних пастбищах. Загоны создавались и в сельскохозяйственных районах, недалеко от колхозно-совхозных усадеб. Таких лагерей в нашей Кемеровской области было создано сотни. Все они относились к системе СИБЛАГа. В области же были созданы два мощных ведомства - "ЮжКузбассЛАГ" и по такой же аналогии - на севере области - "МарЛАГ". Первый с центром в Сталинске, второй - в Мариинске. Все лагеря, лагпункты, лаготделения этих систем подчинялись Министерству внутренних дел.

Сейчас трудно установить, каким был первый этап в эти края. Известно, что лагерь в Сыркашах был первым, и, по рассказам старожилов, в этом лагере в разное время были военнопленные - сначала немцы, а позднее японцы. Лагерь находился на том месте, где сейчас магазин в этом поселке. Лагерь был небольшой, не более как на тысячу заключенных, которые занимались в основном лесоповалом, лес стаскивали на плотбища по берегу Томи, а по весне сбрасывали в реку. Чуть раньше Томусы образовались лагеря на Верхнем Ольжерасе, в Болотном, на Верхнем Тутуясе, в Сыркашах, Карае. Сплавляли отсюда лес длястроек таких же лагерей в Новокузнецк, Кемерово, а весь лес, что шел по Ольжерасу, был предназначен для лагерей Томусы, для первого лагеря-гиганта в Ольжерасе. Пошел лес и по Усе. И тоже сюда, на строительство города, шахты, разреза, обогатительной фабрики.

Сюда 27 марта 1948 года пришел первый этап заключенных. Он был небольшой, всего-то двадцать семь человек. Пришел своим ходом, на лыжах. Из Новокузнецка заключенные вышли под конвоем с единственным охранником. Но по пути с ним случился острый приступ аппендицита. Заключенные устроили солдата вместе с его оружием в Атаманове, в местную амбулаторию, и отправились дальше уже самостоятельно. Бежать в этапе никто не захотел. У нашего земляка

из Мариинска Августа Шарапова срок был шесть лет. По специальности он был шофер и горный мастер. Срок получил в Анжеро-Судженске, в шахте неловко обошелся с пленными немцами, на-гора те пожаловались начальнику по надзору и пошло-поехало! Шесть лет! Если бы побил пленный на-гора, то еще неизвестно, может быть, и ничего бы не дали, а тут случай чрезвычайный, можно сказать, в шахте. В шахте любые посягательства на личность всегда преследовались в уголовном порядке, чтоб неповадно было драться с начальством или между собой горнякам. В шахту они спускаются добывать уголь. Не в родной и близкий оттуда Мариинск отправили Августа Шарапова, а сюда, в Томусу. Так, видимо, было угодно судьбе. Под конвоем наш земляк пробыл лишь до Атаманова. Позднее он станет первым шофером Междуреченска, тогда еще Томусы. А до того он вместе с этапом пришел на место будущего лагеря. Здесь стоял один-единственный домик с большими цифрами на крыше. Узнал, что это дом лесника, его однофамильца, что интересно. Поставили мужики палатку на высоком сухом месте и стали ждать самолет. Самолет прилетел, как и говорили, в назначенный день и час.

Летчики увидели группу заключенных и на втором круге сбросили им груз в мокрый, но еще глубокий снег. Там были продукты, пилы, топоры, необходимый инвентарь и записка от руководства: "Приступайте к работе. Необходимо подготовить площадку для строительства пятидесяти палаток. Старшим назначается Шарапов".

Сварили из сброшенных продуктов лагерную баланду, какой позавидовал бы любой зэк. Продуктов было много, готовить было из чего. В этапе находились крестьяне и рабочие. Заставлять работать никого не надо было. Тут же взялись за пилы и топоры, с того дня и началась трудовая вахта лагеря в Ольжерасе.

Второй этап, как предполагали, в ближайшие дни не пришел. В апреле сюда уже было не пройти. Лишь в мае на карбузе прибыл какой-то человек, пересчитал заключенных, сверил по фамилиям и исчез. Самолет появлялся раз в неделю, сбрасывал у палатки партии грузов, больше шли палатки, а однажды в упаковке нашли несколько бутылок водки. Заключенных такое внимание к себе вполне устраивало. Если так пройдет весь срок, то жить можно! Как только в

устье Ольжераса растаял снег, приступили к вырубке леса на площадке будущего лагеря. Работали на совесть. Знали, что начальство все-таки прибудет и по головке не погладит, если задание не будет выполнено. Не зря же посылали водку, наверняка к аккордной работе обязывали. Мужики честно отработывали к себе такое внимание. Позднее все получили условную волю. Когда прибыл этап, а за ним следом второй и третий, когда стали огораживать жердями зону, палаточный городок, то первым предложено было трудиться в службе, не сниматься с занятого ими на возвышенности места. Так что никто из них уже до конца срока под охрану не попал. Не питались они из общего лагерного котла.

В конце августа прибыл в Ольжерас высокий, крепкий, красивый мужчина с тростью в правой руке. Представился заключенным первого этапа довольно буднично: "Я начальник лагерного отделения. Зовут меня Василий Константинович Климец. Другого начальника не пришлют. Прошу, как говорят, любить и жаловать. будем строить лагерь на шесть с половиной тысяч заключенных, работы всем хватит". Климец был в гражданской одежде, но по голосу, по хватке мужики поняли: перед ними крепкий начальник.

Первопроходцы пригласили начальника лагеря к себе в палатку обедать. "Хуже мы не должны жить. Я на вас надеюсь".

Василий Константинович не мог, не имел права сказать тогда своим заключенным, что он такой же, как они, осужденный на десять лет. И что его срока прошло четыре года. В его суконном кителе в большом нагрудном кармане лежало среди прочих бумаг и назначение его начальником вот этого самого лаготделения. Через сорок четыре года это направление вернется в Томусу, но уже в качестве подарка мне от владельца этой бумаги. Вот ее содержание:

"Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний УМВД по Кемеровской области.

25 августа 1948 года N2.2285 г. Кемерово.

Начальнику отделения капитального строительства УИТЛК УМВД по КО тов. Климец.

С получением сего предлагаю Вам убыть в Томь-Усинское лагерное отделение УИТЛК на должность начальника лагерного отделения.

Основание: приказ зам. начальника УМВД по КО.

Зам. начальника ОК УИТЛК УМВД КО старший лейтенант (подпись) (Орлов)".

Этот удивительной судьбы человек разыскал меня сам. Живет он в Кемерове. В назначенное время я позвонил, и мне открыл дверь высокий с совершенно белой шевелюрой человек, с крепким голосом, похожим разве на голос известного актера Алексея Черкасова. Ну точь-в-точь! "Ему бы играть царей", - подумал я в первую минуту. И этот голос на фоне пения десятков всевозможных редкой породы птиц - теперешнее хобби Василия Константиновича. И удивительно, птицы не боялись его громоподобного голоса, привыкли к нему.

Василий Константинович вывалил на стол несколько пакетов фотографий хорошего качества и хорошо сохранившихся. И начал рассказывать историю каждой. Как реликвию, беру в руки старые снимки, узнаю и не узнаю знакомые места и бережно складываю их стопочкой с великим сожалением по поводу того, что вряд ли еще когда придется мне их увидеть.

- Забирайте! Это я вам. Мне-то они зачем, а вам нужны, раз вы работаете над этой темой. Это все вам, - тогда он и свое назначение начальником лагпункта вручил мне. - Возьмите, вам пригодится сей документ.

- Василий Константинович, а вот говорят...

- А вы им не верьте! Сейчас столько болтунов развелось - ну буквально все лезут в первые. Они и тогда болтунами были. Приедут из Сталинска, попьют водку вдали от жен, начальства постарше их и - обратно.

Первая юрта. Первая палатка. Ольжерас под снегом. Ольжерас в половодье. Панорама поймы между Усой и Томью. Снято,



догадываюсь, с Лысой горы. Болото, редкий лесок и никакого намека на то, что здесь как раз и будет возведен город на сто тысяч жителей, ни одного еще строения! Первые бараки будущей зоны. Первое же сооружение в Ольжерасе - пекарня и баня. Это уже в бытность там начальником Климеца. На снимке первые строения еще в лесах, а из трубы дым идет - хлеб пекут! Эстакады пилорам. Снято было уже к вечеру, рядом с "козлами" разводили костры, от которых, хорошо видно, пошел густой дым. Лес пилили вручную, маховыми пилами - нигде такие не встретишь теперь!

Пилили днем и ночью. А для того чтобы можно было пилить ночами, и разводили костры - и согреться чтоб было где, и светло чтобы от костра маленько было. На такие работы отбирали очень крепких мужиков, но и те больше недели не выдерживали, в доходяги их списывали.

Распределительная зона была быстро построена в Байдаевке. Начальник сам выезжал отбирать рабсилу для своего лагпункта. Человек он был опытный, в людях разбирался. Перед тем как этап двинется в стокилометровый путь, он проходил перед строем, присматривался к каждому, вел разговор, задавал вопросы: кто, откуда, какая семья, срок. Потом обращался к начальнику перевалки: "Этого мне не надо. Этого тоже. Я там один на семь тысяч человек! У меня охраны нет. Блатных мне не надо, пусть они в городе блатуют, а там у меня надо работать!".

С питанием первое время было плохо. Собрал всех заключенных и попросил, чтобы они срочно писали своим родственникам и просили присылать им продуктовые посылки. У кого они, эти продукты, естественно, были. Никаких ограничений! Потом у него будут большие неприятности с начальством из управления лагерей и колоний, но здесь он был хозяин, здесь у него была своя система и правила содержания заключенных. Все исходило от условий, в каких находился лагерь. За время его работы из этого лагеря не было совершено ни одного побега! Создал отряды, бригады - по статьям, по землячеству, а бригадиров заключенные выбирали сами! Зона все еще была огорожена всего в три жерди. Кто мог думать о побеге при таком содержании?

К тому же однажды начальник перед строем предупредил всех: "Я, как видите, вам доверяю, подумайте и обо мне. Если кто сбежит - его срок делю на бригаду. Если кто захотел жить и ходить под конвоем, скажите мне, я переведу того в настоящую зону".

Старался Климец создать по возможности человеческие условия, за несправедливое отношение к заключенному со стороны надзора вел крутые разборки. "Я им постоянно говорил: не забывайте, что они тоже люди, как мы с вами". Первую выпечку хлеба из только запущенной в работу пекарни раздал всем, кто эту пекарню строил, - всем по булке. А в строительстве принимали участие больше трехсот человек. И те, кто лес из реки вытаскивал баграми, и те, кто поднимал его на "козлы" пилорамы, и те, кто пилил плахи и тес, и те, кто брус укладывал в стены, и кто крышу стелил, и кто печи клал, и кто дрова колол, и кто тесто замешивал и выпекал хлеб. Всего и набралось за триста работяг.

Еще одной новостью обрадовал Климец своих заключенных:

"При таких условиях жизни и работы я буду там, наверху, настаивать и добиваться, чтобы вам шел зачет - один день за три.

В управлении ему пообещали похлопотать еще выше. Но наше начальство не было бы начальством, если бы оно не умело обманывать и обещать. Здесь же, в Томусе, пока он был начальником, и действовал и поступал согласно тому, как он поступал и обещал своим подчиненным. Очень многих ему удалось отправить по досрочному освобождению. Тех, кто захотел остаться жить и работать в Томусе.

На одном из снимков запечатлен огромный бык с тяжелой повозкой. Я поинтересовался: быки, мол, единственный в те годы транспорт был?

- Лошади были, но в первое время мало. А с этими быками у меня целая история вышла в Прокопьевске. Выделили нам в тамошнем райпотребсоюзе для лагеря очень большое количество мяса. Было лето, самая жара стояла. Подумал, если везти мясо карбузами по воде несколько суток да в такую жару, пропадет, не довезем. Поехал в

контору райпотребсоюза к начальнику. Вижу: сидит передо мной делец, ну хоть сегодня под охрану бери. И начал я с ним вести такую беседу. Ты, говорю, еще не сделал растрату, не украл лишку? Да вы что! - это он. Так в вашем деле это просто, говорю ему, вон сколько вашего брата, торговых и руководящих у меня в зоне. Ты сделаешь растрату, тебя посадят и ты этапом попадешь ко мне в лагерь, а я буду кормить тебя пропащим мясом, тебе понравится? Нет! Тогда давай поменяем это мясо на живых быков... Договорились. Вызвал я телеграммой своих заключенных, и они за неделю "самоходом" пригнали быков в Ольжерас. Тут же я нарядил две бригады на сенокос. Заготовили сено для быков и лошадей. Быки первое время работали на тяжелых перевозках, а выбракованных уже отправляли на забой, на мясо. А весной сорок девятого там всем туго было, суп варили из колбы...

Новокузнецк, Абагур, Байдаевка, Подобас, Корчит, Мыски, Чеболсу, Томь, Уса, Ольжерас, Междуречье, Майзас, Нагазак, Копай, Сыркаши, Чульжан, Чекса, Калтас, Тутуяс, Кумзас, Багазак, Кырлар, Торбас, Нимнегеш, Тулун, Назас, Болотный, Теба, Бизвенка, Трехречье, Ортон...

Краевед, большой любитель природы родного края, да десяток туристов смогут теперь перечислить все названия рек, населенных пунктов из этого списка. Но автор смог бы список этот продолжить, расширить географию для несведущего читателя, хотя бы о том же Майзасе. К основному названию надо будет добавить слова: Средний, Верхний, Нижний, там еще между ними два-три названия, которые даже автор не смог уже уточнить, как и к Ольжерасу, Назасу, Тутуясу. Это только географические названия одного района, не самого большого в нашей Кемеровской области. А все эти названия необходимо представить с номерами лагерей, лагпунктов, поселений, колоний к ним, какие бытовали на эмвэдэшном языке в сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы. Но и сейчас еще Томуса не освободилась от подневольных людей. Именуются нынешние лагеря местами поселения - с тем же режимом почти, что и настоящие лагеря. Обитатели этих колоний, поселений дорубливают лес там, где он чудом сохранился после столь широкомасштабного повала. Но здесь уже главное не леса, а место их расположения. Те места и сегодня не для туристических маршрутов.

Больше сорока лагерей, зон, лагпунктов. Больше сорока тысяч "контингента" содержалось в них одновременно! От небольших" в триста человек - до больших маток - в несколько тысяч узников, подневольных вальщиков леса, строителей. Представители всех бывших братских республик прошли через лагеря Томусы. Да прихвачены были еще и граждане ближних и дальних суверенных государств. О них наш рассказ ниже.

Но это не путеводитель для начинающего туриста, хотя мне хотелось бы, чтобы по тому тракту, который в народе здесь в конце сороковых прозвали Слезный, по тропам, берегам рек и ручьев провели юного туриста. От Новокузнецка до Томусы, а то и дальше, до самых отдаленных даже сейчас уголков, да не на комфортабельном автобусе, а пешим ходом. В автобусе этот путь сегодня займет всего два часа. В конце сороковых этапы шли сюда по четверо суток.

Это только до Чеболсу, до переправы, до слияния рек - Усы и Томи, вернее, наоборот, - от того ведь и Томуса.

В сороковые сюда туристы не ходили, да не пустили бы их в эти края. Пешим ходом вели сюда под усиленной охраной этапы, случалось, и до тысячи заключенных одним этапом. На самоходных баржах "Минин" и "Пожарский" - летом, на машинах - зимой. Круглый год! Шла поставка "контингента" в Томусу. Машины пробивались в коридоре сугробов, с бортами из снега в три метра и выше! Если машина забуксует, а это случалось по дороге часто, даже после небольшого бурана, заключенных высаживали, и они своими плечами вытаскивали технику на более твердое место. И не всегда у нас было тепло. В те годы, хорошо помню и я, Сибирь больше соответствовала своему названию по климатическим условиям. В лютые морозы чаще всего везли заключенных.

Казалось, что сама природа стояла на стороне тоталитарного режима, чтобы потом, по прошествии многих лет, те, кто останется жить, пройдя все ужасы ада в Томусе, помнили, что отбывали в Сибири. Этот край верно служил карательной системе и сколько еще послужит...

Аборигены здешних мест - шорцы - поначалу, видя такое нашествие, уходили подальше в тайгу, покидали свои жилища. Ну кому бы не стало страшно от такого "поломничества"? В край вечной тишины и покоя под усиленной охраной из стрелков и обученных собак вели многочисленные колонны голодных, обездоленных, озлобленных порой на весь белый свет людей, на лицевом счету которых было не меньше десяти лет как минимум, а основная масса - большесрочники - до двадцати пяти да еще по отбыванию такого срока с поселением, возможно, в этих же краях. Вели на каторгу, на верную гибель.

Их не ждали здесь благоустроенные бараки, самое спасительное жилье на первых порах были палатки, а то и шалаши, юрты из веток, землянки. По Слезному тракту останавливались на ночлег на берегах рек. Те места называли "станками". Как на большом пути сибирских извозчиков в конце того и начале этого века - до Томска двенадцать станков. Но то были заезжие дома при трактах, где можно было отдохнуть, накормить лошадей, крепко покушать и даже выпить, кто желал. А здесь станки были под открытым небом. И снег, и дождь, и ветер, и мошка, и комары - все твое!

На ночлег все же останавливались ближе к улусам - небольшим шорским поселениям. Охрана по всем ночам жгла костры, грелась сама, освещала "охраняемый" объект, чтобы, не дай Бог, ни один не ушел. Бывало, уходили. И тогда охрана лишалась поощрений по службе. Другие же солдатики сутками прочесывали тайгу, им доставалось!

Заклученным на станке приказывали "держаться теснее", то есть надо братья друг другу под руки, сидя, естественно, так и засыпали. Из барж не выпускали. Заклученных заставляли нести на себе (везли на баржах, на машинах) умерших в пути и сутки, и двое, и трое! Хоронить умерших в пути (на то был строгий приказ) только по прибытии на место. Этими первыми несчастными, которым не суждено было увидеть чудную страну под названием Томуса, и начинались безымянные сейчас большие и малые захоронения. В наши дни даже самые любопытные не найдут и мало-мальский след от них, не встретит он в наших краях того, кто эти захоронения помнит, - отбывал здесь сам или жил вольно. Мне повезло на старожилов,

которые показывали на бывших заключенных и вольных рабочих, но то, что мне удалось узнать, всего лишь капля в море. Серьезного поиска здесь никто не проводил и не будет - теперь уж точно! - проводить. Кроме того, сейчас уже невозможно установить, кто там похоронен: уголовник ли, погибший в ножевой драке со своими собратьями, или лагерный сексот, зарезанный ночью, профессор ли из Москвы. Осиновые колья с номерами давно сгнили, не оставив и малейшей информации о тех, кто лежит в этой земле. Естественно, в архивах МВД, должно быть, хранятся на этот счет какие-то документы, но они нам пока недоступны. Если они есть, конечно. Я не уверен, что есть. Кому это тогда надо было - вести карту захоронений, учет по местам захоронений, где кто лежит, под каким хотя бы номером, кодом ли? Но мы точно знаем, что на этой земле покоятся десятки тысяч узников Архипелага ГУЛАГ. Солнцем сталинским согретые, они так и не дотянули свои сроки, не доработали, не дожили до того светлого будущего, во имя которого они здесь и сложили свои головушки.

Анатолий Маркин рассказывал: "Из Сталинска, из распределительной зоны в Байдаевке, нас привели к переправе через Томь. Да, где она и сейчас, но уже в виде моста железного, а тогда там ходил паром. Мы думали, что нас переправят на другой берег тем самым паромом, но нас посадили на самый берег, на гравий и продержали несколько часов в таком положении, сидя.

Группа была из пятидесяти человек. Шел дождь. Было очень холодно. За дорогу по распределительным тюрьмам и зонам мы так измотались, что не было сил даже сидеть. Нам же не сообщали, куда ведут, кого мы ждем на этом берегу. Только по пайке и можно было определить: далеко. Пайку выдали на трое суток. Три сырых камбалы и хлеб. На берегу этот трехсуточный запас большинство из нас проглотило. Как волки голодные были. Среди нас было несколько урок, а они вечно, как шакалы, были голодные и прожорливые. Из-за них-то и пришлось съесть все сразу, посматривали они на наши пайки. По опыту мы уже знали, что в дороге у "тихих" пайки отберут. Мы сидели, мокли под дождем. Потом увидели: к переправе со стороны города шла самоходная баржа. "Пожарский"! Подошла баржа к причалу парома. Нас погрузили в ее внутренности, в единственный ее

трюм на железный пол - днище баржи. Мы оказались не первыми. Там уже было много народа, но нас втиснули всех.

Буквально втолкали! Стоя плыли двое суток. В барже было невыносимо холодно и сыро, а кому-то всю дорогу пришлось и в воде стоять. Ну и ко всему прибавим еще шесть трупов! Умерли дорогой, не вынесли душегубки. Ночевали у острова. Охрана жгла костры, грелась. Им ведь тоже холодно было, они-то наверху, на палубе. Кто-то из заключенных взмолился, что не вынесет он ночи рядом с трупами. И это в его день рождения! Имениннику позволили выбраться из трюма на свежий воздух, погреться у костра, кто-то из охраны дал закурить. Выжил человек, оклемался, а его опять в трюм. Тут же нашлись и другие "именинники", но тем не прошло. "Может, вы сегодня все родились?" - спросил грозно охранник и закрыл крышку трюма.

Утром баржа подошла к Шарпову логу. Это как раз напротив Чеболсу. Нас выгрузили, многие не могли стоять на ногах. Как только добрались до берега, так и свалились. Трупы приказали вытащить из баржи и нести на себе до лагеря. А где он, лагерь? Всю дорогу шел дождь со снегом. Мы насквозь промокли. К Ольжерасу вышли к вечеру. Здесь слева на ровном пригорке стоял женский лагерь, весь берег реки был завален лесом. Начальник конвоя пошел узнать, куда нас определить. Никакого лагеря в нашем понятии здесь для нас не было. Женщины через сетку колючей проволоки кричали: "Начальник, заводи мужиков сюда, мы всех обогреем". Какие из нас мужики были! Я прилег на мокрую траву, устал, измотался за дорогу, да и голова кружилась от голода.

На погибель сюда привели, думаю. Так и задремал. Но тут же получил пинка. "Не положено!" Но что же я такого совершил, что дремать даже здесь не положено?

За Ольжерасом-рекой несколько палаток стояло. И не понять было, то ли туристы, то ли геологи там расположились. Костры горели, едой пахло. Противоположные сопки затянуло туманом, на нас дождь льет, под ногами хлябь, болото. Ну, думаю, здесь мне и конец будет. Здесь всем конец будет!

Принесли лопаты. Надо было закопать трупы. Всем пришлось поработать. Похоронили христиан без гробов, без крестов, как пропащих собак хоронят. Страшно стало от мысли, что вот так и я однажды буду брошен здесь же, рядом, в яму. Еще холоднее стало от таких мыслей. Диким и неприятным показалось мне то место, где предстояло отбывать срок. Обувь моя за переход совсем расквасилась, расползлась, босым остался. Мог ли я быть оптимистом в те минуты? Это ведь сейчас легко вспоминать, а каково у меня тогда на душе было! Страшно!

В сумерках уже перешли мы вброд Ольжерас и поднялись к палаткам. Что было в тот вечер - не помню, кормили ли нас, нет? Скорее всего, я свалился на нары в палатке, прижатый с обеих сторон такими же, как и я, горемыками, и заснул с одним-единственным, наверное, желанием - не просыпаться.

Это было 4 октября 1948 года".

В тех палатках на крутом склоне жили те, кто пришел сюда с первым этапом в марте, расконвойники, начальник лагпункта Климец и дивизион солдат. У одной из палаток к колышку была прибита дощечка от тарного ящика, на которой неуклюже было написано: "ЛО-16". Лагерное отделение шестнадцатое. Та самая точка на карте была наверняка отмечена в кабинете министра внутренних дел.

Ему почти ежедневно отсюда шли сообщения о новых таких вот точках. И он размещал новые. Через месяц, через год таких точек на карте Томусы было так же много, как веснушек на рябом лице деревенского мальчишки. Десятки! И все они создавались здесь для блага Державы.

А до того, как эти точки на карте были отмечены, Сталинск-Товарный стал почти ежедневно принимать спецгрузы для них. Прибывали сюда вагоны-пульманы, двухосные-"столыпинские" - какая несправедливая память великому реформатору России! К зиме на станцию прибыло несколько вагонов с заключенными, а уж к весне сорок девятого сюда повалили эшелоны. Почти каждый день! И все - сюда, в Томусу! Строить город Победа! Такого нашествия город металлургов - "стальное сердце Сибири" - Сталинск не знал с эпохи



строительства Кузнецкого металлургического гиганта. Город с крылатым и обжигающим сознание названием принимал на сей раз эшелоны из всех республик СССР. Но прибывшие узники, прочитав название конечного пункта их эшелона, понимали, что это не Колыма, не Норильск. Не знали они, что этот край уже приравнен к тем, считающимся могильными точкам для сотен тысяч изгоев общества с плачем поднимающейся страны. Сколько горя готовила она тем, кто прибывал на освоение этого гулаговского региона. В географических картах ГУЛАГа наш край еще не звучал. Но набирал силу. С приходом нового эшелона все больше, все сильнее, все отчаяннее становился его голос.

Когда я занимался поисками узников Томусы, однажды специально вышел из автобуса в Атаманове. Но знакомого дома не нашел. На том месте, где когда-то пришлось ночевать, теперь строился богатый двухэтажный коттедж с мезонином. Мне важно было найти тех добрых людей, у которых по случаю пришлось ночевать лет так двадцать пять назад, хотел расспросить подробнее о тех временах. Тогда тот дом был крайним и во время начала освоения Томусы он как бы заезжим был. Не проходило и ночи, чтобы кто-нибудь не ночевал там. Ехали жены, дети, родители на поиски своих мужей, отцов, жен, матерей, сестер, братьев. Хотелось узнать имена тех добрых людей, что жили в крайнем доме большого села на том самом Слезном тракте. Не нашел. Никто не помнил тех старожилов. Я извинялся - и калитка тут же захлопывалась, слышен был и лязг задвижки. Не те люди. Не те. Мы стали другими.

Нельзя на этом Слезном тракте обойти вниманием паромную переправу в Байдаевке. Ее никто не миновал. Только там была переправа через Томь. Железной дороги в нашу сторону из Сталинска еще не было. Ее только размечали, а тем паромом пока перевозили тех, кто эту дорогу должен будет строить. Бывшие уже к тому времени зэки будут вгрызаться в гранитные утесы, чтобы отвоевать у них место для будущей железной дороги. Среди тех, кто будет прокладывать дорогу, мы увидим опять же бывшего воина, только освободившегося из здешних лагерей. В день освобождения у него не было средств доехать до своего дома, купить подарок матери, сестре, и он первым попадал в строители той дороги. Там платили деньги, можно было заработать на жизнь и на дорогу домой. В лагерях же денежную

оплату тогда еще не вводили, на то он и подневольный труд сталинских лагерей.

От парома в Байдаевке проходил путь и тех, кто здесь работал вольно, так называемых вербованных комсомольцев. Сейчас, правда, в День строителя, они в первых рядах. И все, даже то, что сделали узники лагерей, приписано им, "первостроителям". О каменном карьере, правда, умалчивают, его вроде как и не было. Никто не вспоминает тех, кто добывал камень под фундамент будущего Коммунистического проспекта. А была в лагере Ольжерас двенадцатая бригада Самуила Исаковича Рапопорта. За смену каждый работник его бригады умудрялся на лютом морозе и пронизывающем до костей ветру наколоть и погрузить одну машину камня! Под силу ли такая выработка вольному человеку? Чуть позднее трудовую вахту у бытовиков примут "комсомольцы с номерами" - узники лагеря Особого назначения. Но это было потом, через два года. Удивительным для нас сейчас кажется и такой факт. Двенадцатая бригада из ЛО-16 ходила на каменоломню с песней! Бригадир утром получал на две пайки больше числа членов бригады. Две пайки за вчерашний ударный труд! Бригадир раздавал их самым слабым. От такой поддержки, а точнее, подогрева, разве не запоешь!

Через паромную переправу прошли десятки тысяч людей. Если бы там вели книгу учета "входивших" и книгу "возвращенцев", то это были бы разные по объему книги. Мне могут возразить: а сколько, мол, осталось жить после освобождения в Томусе? Много, несколько тысяч. Я имею в виду всех тех, кто после освобождения остался здесь зарабатывать себе подземный стаж. Но кто подсчитал, сколько не смогли вернуться через ту переправу обратно по причине, нам всем известной? Сколько погибли в реках на лесосплавах, в глубоких снегах на лесоповале, были зарезаны уркаганами? В одном только Нижнем Майзасе один маньяк за день зарезал более шестидесяти человек!

Сколько умерло в больницах доходяг и дистрофиков, а сколько замуровано в бетоне главной штольни шахты им. Ленина? А сколько повесилось от безысходности? Они-то учтены? Конечно! Но до тех книг нам не добраться.

Именно здесь, в Томусе, осуществлялась гениальная мысль "вождя всех народов": "Есть человек - есть проблемы, нет человека - нет проблем". Именно здесь превращали людей в ту самую лагерную пыль.

### **Зона.**

Колючей проволоки на первых порах не было. Юрты, палатки и первые одноэтажные бараки, во времена начальника Климеца построенные, начали огораживаться. Вначале, как уже говорилось выше, жердями или плетнем.

Высота такой изгороди была полтора метра. В первые зимы снега были большими. За первые месяцы зимы такая изгородь исчезала под снегом. Над ней проходил на лыжах кто-нибудь из охраны, после каждого снегопада лыжня эта обновлялась и так росла по мере роста снежного покрова. Заключенных предупреждали: "Это запретная зона. Кто перейдет ее, будет считаться в побеге". Начальник дивизиона Алферов, несмотря на демократизацию Климеца, помаленьку все же подкручивал шланг с кислородом: он подчинялся другому начальнику, военному ведомству МВД. По углам зоны он поставил стрелков уже не от нашествия медведей, которые могли случайно забрести в зону. Такие же лыжни были проложены и на строительных площадках, и на известной нам каменоломне у подножия Лысой горы. Проход через Усу обозначался вешками из таловых веток. Как бы тщательно ни отбирал для себя заключенных в распредзоне Климец и его заместитель на первых порах Мосевич, в лагерь все же проходил и криминогенный контингент, блатные. Без них еще ни один лагерь не существовал, не может существовать и сегодня. Начались нарушения режима.

Для нарушителей соорудили лагерную тюрьму. Строили ее заключенные, в бригаде которых был и знакомый уже нам Анатолий Маркин. Вырыли на сухом месте обычный погреб-яму, перекрыли ее жердями и засыпали землей, то есть получилась обычная землянка. Устроили в ней нары, а посередине поставили печку-буржуйку, воздух в такую тюрьму-яму попадал только через дверь, но она, как и во всякой

другой тюрьме, была чаще закрыта на хороший замок. В таком каземате пробыть полностью срок наказания было действительно наказанием. Дым, угарный газ, крошечная тьма на первых порах, потом, говорят, провели туда свет и соорудили вытяжную трубу. Того штрафного изолятора боялись все ээки, но он не пустовал. Как зверям в клетку, бросали надзиратели пайки, кто сколько поймал, тот столько и съел. Так же бросали туда и сырые поленья дров. Кто сухие-то приготовил! Лагерь только начинался.

Высокая комиссия, посетившая зону, закрыла этот каземат. У склона холма, в отдаленном углу лагеря, создали "комфортабельную", отличающуюся от прежней разве что своим каменным мешком. Сооружена она была из местного камня, прозванного в этих местах за черный цвет "шорцем". Та тюрьма просуществовала много лет, пережила многих своих строителей. Через десятки лет, когда в этих местах не осталось и намека на некогда гигантскую зону, тюрьма стояла на повороте дороги в Широкий лог. Мимо нее ежедневно проезжали тысячи шахтеров и других граждан, высокие гости из области и столицы. Она никому не нужна была, никто не заинтересовался таким сооружением. Какое-то время ее использовали как хранилище для нефтепродуктов. Несколько лет назад на том месте началось строительство, и тюрьму завалили горной породой. Так исчезла еще одна примета нахождения в этих краях сталинских лагерей.

Не могу простить себя за то, что не успел увековечить это уникальное сооружение для истории. Часто проезжал мимо, смотрел на тюрьму из автобуса или машины, но не остановился, не вышел и не снял ее на пленку. С другой стороны, в те годы это было опасно делать. Мог кто-то увидеть, заинтересоваться, заподозрить в этом подрыв устоев, преднамеренное искажение истории молодого города, славящегося в те годы на всю страну своими шахтерскими рекордами.

К каменной тюрьме мы еще не однажды вернемся. В ней отбывали люди, о которых речь пойдет ниже. Три мною найденных узника приехали сюда ровно через сорок лет морозным декабром девяносто первого года из Литвы. Это узники лагеря Особого назначения, того самого "Камышлага". В первый же день своего здесь пребывания они отправились на место их лагеря. Одному из них, известному

шекспироведу, профессору Альгису Гениушасу, в молодости приходилось не однажды отбывать в той тюрьме, в том каменном каземате.

Нашел он то место через сорок лет! Прошел по занесенному уже снегом месту и остановился там, где под породой покоилась бывшая лагерная тюрьма.

...К делу приступили в сентябре сорок восьмого. По реке Ольжерас уже существовало пять зон. Заключение там все лето валили и сплавляли лес. На месте нынешнего моста через Ольжерас поставили затор. Лес заполнил всю реку, поэтому и создавались невероятные заторы выше. И вот на разбор этих заторов и вышли первые заключенные лагеря Ольжерас. Лес вытаскивали из реки и на берегу складировали. На поставленных поблизости от берега козлах его распиливали на плахи и тес. Несколько бригад были заняты на подготовке бруса для бараков. Основным инструментом был топор. Но самая тяжелая работа шла в реке. Заключение входили по пояс в воду и по несколько часов растаскивали завалы, баграми тащили бревна к берегу. А если еще и дождь сверху! "Выскочишь из воды - и к костру. "Танцем туземцев" называли мы те танцы", - вспоминал Анатолий Маркин. Через ледяную купель прошло почти все население лагеря. Никто ее не миновал. Многие и сейчас вспоминают ту осень с содроганием. Лес вытаскивали из реки перед ее ледоставом.

А на берегу стучали топоры. На стройку нужны были плотники, опытные специалисты, здоровые и крепкие мужики. Где их взять? Вспомнили! Не всех староверов выловили в томской тайге. Отправили экспедиции по всем северным районам Томской области. Не геологов и фольклористов, а ребят опытных, тертых чекистов с солдатами. И нашли, да каких нашли! Выловили несколько сот мужиков с окладистыми бородами. И сюда их, в Томусу. Каждому определили по пять лет. До особого указа. Если они по истечении пяти лет еще понадобятся, там же, в лагере, им добавят еще с той же формулировкой: до "особого указа".

Великая тема - сибирские староверы в годы тоталитарного режима! Никто пока не коснулся ее всерьез. Да придет, думаю, и до того черед, если Россия не исчезнет с политической карты.

Срубы у староверов получились как игрушки. Держались они дружно, связываться с ними боялись самые отпетые уркаганы. Не признавали они никаких авторитетов - для них здесь все враги были. И блатные, и люди в погонах. И то, и другое - "от сатаны". Не скупилось лагерное начальство и на улучшенную пайку плотникам. Те же строили дома и начальству, а потом и для продажи. Поняли гулаговские деятели местного масштаба, что у них в руках золотая жила - плотники-староверы. И давай строить и продавать вновь прибывшим сюда вольным специалистам. Те дома до сих пор сохранились в Ольжерасе. Не знаю, кто в них живет сейчас, но тогда жила только элита. Все высшее начальство лагеря, треста, власти. И двухэтажные дома по улице Зеленой, которые стоят еще, - все тех же староверов работа. И сейчас знающий в деревянной архитектуре толк человек поймет: знатная работа!

Да, надо отметить и еще одно поощрение, на которое пришлось идти лагерному начальству: разрешили плотникам носить бороды. И молиться, естественно, в лагерном бараке не запрещали. А жили они отдельно, обособленно от других заключенных, в бараке своими же руками срубленном.

Первую зиму в палатке Анатолий Маркин тоже запомнил хорошо. Пришедшие с первым этапом поставили палатки на лучших сухих местах, подготовленных фундаментах. Нары делали из колотых пополам бревен. Не было никакой постели. Бывалые люди запасали мох, сушили его у печи. Те же опытные люди и дрова к зиме подсушили, да их разворовали в первые же холодные ночи.

Пришлось топить всю зиму сырьем. Снег заваливал палатку по самый ее верх, из сугробов торчали только трубы. Палатка есть палатка, ее не натопишь. Бывало, встаешь утром и отдираешь примерзшую к нарам шапку.

До теплого пищеблока было еще далеко. "Замерзшую, как камень, пайку грызли. Сахар с ладони - прямо в рот: из рук блатные вырывали. Баланды из мороженой картошки и капусты хватало на час работы на лютом морозе, а остальное время работал лишь столько, сколько надо было для того, чтобы согреться. Тот черпак, однако, дороже жизни порой был, за него отдать можно было все - и настоящее, и

прошлое, и будущее, каждый согласен был к дополнительному сроку, но не лишению того черпака горячей баланды после долгой работы на морозе. А что жизнь! Она и копейки в тех условиях не стоила", - вспоминал Виктор Афанасьев.

И небо казалось с овчинку, когда у тебя отбирали эту пайку. За нее в первые месяцы зимы к Лысой горе заключенные торили дорогу и там долбили стылую землю для первых жертв выживания.

С первых же дней существования лагеря начались выяснения отношений, всевозможные кровавые разборки. Пришедшие с первыми этапами уголовники занимали в палатках самые теплые места и уступать их вновь и вновь прибывающим таким же, как и они, уголовникам не собирались. На дворе-то было за сорок, кому же хотелось отдавать налаженную постель да идти обживать новую, только что поставленную прямо на мерзлую землю палатку! А свою лелеяли, защищали, хранили тепло, не собирались уходить от своих, ими же установленных здесь порядков. Не авторитет для таких были и вновь прибывшие авторитеты и воры в законе. Топор-то он тут, рядом стоял.

В новой зоне формировался большой коллектив, очень сложная система, какая всегда существовала и всегда будет существовать, смыслом которой всегда была битва за место под солнцем. Разбивались по мастям, то есть по классам, по принадлежности к той или иной категории преступного мира. Элита называла себя цветом, рангом ниже которые - полуцвет, замыкала классы шобла. Чтобы утвердить себя, безымянному блатарю необходимо было совершить нечто на глазах у сотен эзков, чаще всего жертвой такого самоутверждения становится такой же уркаган или вор в законе, который, по мнению того, выдавал себя не за того, кем был на самом деле. Любые разборки заканчивались кровопролитием. Только в смертельном бою вышедший из него победитель становился во главе всего лагеря.

Формировались структуры (как мы сейчас говорим) управления лагерем. Начальник лагеря - это он там начальник, за забором и колючей проволокой, а здесь - свой. И власть у него над заключенным выше, чем у того начальника с погонами, который сидит в кабинете.

Естественно, во главе зоны становился вор в законе, если его в зоне не было, то это уже не зона, а чистый бардак.

В соответствии с занимаемой должностью и место под солнцем. А рядом верные псы - шестерки, личная охрана. В основном это были предприимчивые ребята, наглые, жестокие. Они знали свое будущее - оно в руках у их благодетеля. Люмпеном, как в любом другом обществе, был неспособный защитить себя трудовой народ. Надо отдать должное, настоящие воры-паханы в обиду работягу не давали. И это понятно - те были их кормильцы. Обидеть работягу считалось большим грехом. "Папа" за обиженного наказывал тут же, если, конечно, того обидели несправедливо. И эту несправедливость определял хозяин зоны. Он был и судья, и прокурор. У него были исполнители. Тоже демократическое общество. Только главу не выдвигали и не выбирали. Те вершины завоевывались или авторитетом, или в бою.

Бригадиры, нарядчики - это тоже элита. Руководство лагеря использовало этот цвет как верных псов. С их помощью оно наводило в лагере порядок, заставляло рабочий люд выполнять и перевыполнять план. А любой их план был уже завышен, а перевыполнение - это уже завышение плана фактического в два раза. У каждого бригадира на этот счет, как у доброго хозяина, была своя заначка. Не показывали фактические цифры, занижали их, оставляя ту заначку на черный день, чтобы получать пайку каждый день сполна. Кстати, в период социализма в нашей стране подобные приписки и сокрытие фактического результата практиковались повсеместно. И опыт этот пришел из зоны.

Очень точно, на мой взгляд, высказался о бригадирах и других лагерных придурках узник Колымы писатель Варлаам Шаламов писателю Солженицыну: "Самое худшее, что есть в лагере, - это приказывать другим работать. Бригадир - особенно страшная фигура в лагере. Мне много раз предлагали быть бригадиром. Но я решил, что умру, но бригадиром не стану... Зэки один за другим умирают, а бригадиры (придурки, блатари. - Ю. П.) живут! Это ведь и есть самая главная причина, почему люди идут работать в бригадиры и отбывают несколько сроков... А в бригаду приходили новички, чтобы в свою очередь умереть, или заболеть, или встать под пули, или издохнуть от



побоев бригадира, конвоира, нарядчика, парикмахера, даже дневального... Для помощи в уничтожении пятьдесят восьмой статьи были привлечены уголовники-рецидивисты, блатари, которых называли "друзьями народа".

На Колыме, в Воркуте, Мариинске, Томусе ли порядки были одни. Формы работы в системе лагерей выработаны настолько четко, что они служили им во все времена ГУЛАГа безотказно, служат и по сей день. Тут ничего не меняется и меняться никогда не будет. Усилия Лаврентия Павловича, а до него Вышинского не могли не возрасти в той системе, какую создавали с первых дней Октябрьского переворота. Доносительство, страх наказания, а меры избирались на усмотрение отдельно взятого человека. На сей счет инструкции из центра не сообщалось. Чем дальше от центра, тем страшнее беспредел. В тайге, на лесоповале, в шахте каждый маломальский охранник, а тем более зэк из самоохраны считал себя фараоном. Нам это хорошо знакомо и из нашей "вольной" жизни. Мы еще долго не перестанем говорить: прав тот, у кого больше прав.

Слава Богу, от сталинской мясорубки кое-кто уцелел, здравствуют сегодня те, кто пришел в Томусу с первым этапом, кто забивал в непроходимые болота первые деревянные сваи, кто воздвигал обогатительную фабрику, мастерские, комбинат шахты "Томусинская 1-2" (ныне шахта им.

Ленина), кто вгрызался в монолит "шорца", прокладывал штольню первого горного, кто закладывал фундамент первых домов, поставил и поныне самые престижные дома Междуреченска, корпуса первой городской больницы, третью школу в Ольжерасе. А возглавлял все это строительство Виктор Васильевич Рычагов.

Виктор Васильевич, как уже было сказано, был арестован как брат "врага народа". Его брат, бывший главнокомандующий военно-воздушными силами, был арестован, осужден вместе с маршалом Тухачевским в 37-м году и по приговору суда был расстрелян. Мне ничего неизвестно о легендарной судьбе Виктора Васильевича до осени сорок восьмого года. Где этот замечательный человек оставил свой след, в каких тюрьмах-пересылках, лагерях до Томусы ему пришлось осваивать нары? Но здесь он был условно освобожден,

расконвоирован. О нем рассказывают все, с кем приходилось встречаться из бывших узников лагеря в Ольжерасе. С уважением вспоминал о нем и бывший майор МВД Николай Степанович Оселедкин.

Попал сюда Рычагов, естественно, не случайно. Прибыл с небольшой группой специалистов на барже "Пожарский". Без охраны. Поместили в отдельной от зоны палатке на таких же, как и у эков, нарах. Виктор Васильевич к такому "комфорту", оказалось, давно привык, быстро освоился на новом месте и на другой день после прибытия уже знал, что делать, давал наряды и распоряжения. Знаменитого инженера, ученого ГУЛАГ использовал по прямому назначению. Привезли и сказали: вот здесь будешь строить город Победы.

Летом сорок девятого Виктор Васильевич перешел из палатки в небольшой финский домик на возвышенности, над лагерем. К опальному инженеру была представлена домработница. Из прибывших на строительство нового города вольной волны с соседнего Алтая. Очень красивая и приветливая была та женщина. Но красивые здесь были и тогда в особой цене. Говорят, что затем кто-то из больших начальников, курирующих стройку, из Новокузнецка увез к себе, на повышение как бы.

Многие бывшие заключенные помнят и другую домработницу Рычагова. Она вроде была из расконвоированных существующего еще до Ольжерасского лагеря женского, на другой стороне Ольжераса, который был в Новом городке. Та была из интеллигентных особ, москвичка, землячка Рычагова, и тоже очень добрая, приветливая, хорошо готовила. Продукты инженеру выдавали со склада, как офицерам и вольным начальникам, а там выбор был. В доме Рычагова всегда находили приют те, кто освободился по окончании срока. Приходили за советом, как жить дальше. Виктор Васильевич многим советовал остаться здесь. И те, кто послушал его, до сих пор не жалеют, а тогда благодарили инженера за поддержку, за помощь в трудоустройстве. Многие свои первые дни на свободе провели под крышей всегда гостеприимного инженера.

Во всем другом Рычагов мало чем отличался от заключенного. Получал спецодежду, отмечался у строгого надзора. Он не требовал к себе особого отношения, был чрезвычайно скромным человеком в своих запросах. Вот такой случай, рассказанный Оселедкиным, говорит о многом. Однажды снабженец четырех зон, лагпунктов, увидел, что у Рычагова голые пятки: казенные носки главный инженер износил до основания. Большую часть Виктор Васильевич ходил в сапогах. В другой обуви здесь было не пройти. Переобувался в тот раз где-то, снабженец и увидел, что у инженера не только носки изношены, но и портянок нет.

- Что же вы, Виктор Васильевич, не скажете, что у вас нет ни носков, ни портянок?

- Я всего лишь заключенный, - ответил Рычагов. - Я же не могу требовать лишнего, не дают - значит, не положено.

Майор тут же отыскал старшину, который ведал вещевым складом, и дал распоряжение обуть инженера во все новое.

- Так ведь у меня он идет как зэк, - возразил было старшина. - По общему списку.

- Я вам приказываю! Отнесите ему домой прямо сейчас пять пар носков, пять пар портянок и новые сапоги сорок второго размера. Все это запишите на мою карточку. Исполняйте!

Носки, портянки и сапоги для главного инженера строительства города Победы, естественно, на складе нашлись. Оселедкин приказал записать на свою карточку все потому, что на каждого зэка были заведены карточки, а по ним заключенному Рычагову не положено было выдавать спецодежду, срок подошел. Для носков, портянок и сапог был определен "положенный" срок носки.

На другое утро Оселедкину по какой-то надобности необходимо было зайти на квартиру к Рычагову. На крыльце дома сидели трое мужиков из вольных уже строителей, и они обувались в новые носки и портянки. Оказались временными жильцами у главного инженера. Виктор Васильевич вышел к майору в тех же старых сапогах.

- Виктор Васильевич, а сапоги вам выдали? - спросил майор.

- Выдали, спасибо за заботу.

- Так что же вы не надеваете их?

- Я их по праздникам буду носить. Экономить во всем - вот лозунг строителя социализма. А что, эти, - посмотрел Рычагов на свои старенькие сапоги, - разве уже не пригодны? Потопчу я в них это лето томусинскую грязь, как вы считаете? Кто же меня поймет, если я явлюсь в новеньких сапожках на стройку? Я же не начальник лагеря.

Шепнул что-то домработнице, и та пригласила майора на веранду к столу. Там уже стояли наполненный стакан и закуска.

В тот раз Виктор Васильевич сказал майору:

- Вот доживем мы до лучших времен, приедете вы ко мне в Москву, сядем мы с вами и вспомним обо всем этом...

Через много лет слова Рычагова сбылись. Майор Оселедкин ехал с юга, с курорта. Время у него было. Как только он вышел на площадь перед Казанским вокзалом, сразу же направился в справочное бюро. Через несколько минут адрес Рычагова лежал у него в кармане, а такси мчало его на желанную встречу. Дверь открыл сын Виктора Васильевича. Сибиряк рассказал о себе и о своем великом желании встретиться с Рычаговым-старшим прямо сейчас, объяснил, что в Москве он проездом.

Сын Рычагова все понял и тут же отвез гостя на дачу. Там и состоялась встреча, о которой Рычагов мечтал в далекой уже от него Томусе. Встреча была теплой. Не знал тогда майор, что это его последняя встреча с человеком, в судьбе которого он принял маленькое участие и всегда очень дорожил отношением с ним.

Вот так порой скрещиваются судьбы...

За лето сорок девятого было поставлено несколько бараков. Шахтеры пробивались к залежам угля. Нескончаемым потоком с

верховьев Ольжераса шел лес. Его вытаскивали, распиливали тремя пилами. Работали в три смены. В пойме реки стучали тысячи топоров. Звук разносился на несколько километров.

Василий Герасимович Соловьев услышал его сразу же, как только его переправили через Томь и они тонкой цепочкой двинулись к Шарапову логу - это не менее двух километров от зоны. Становилось как-то не по себе от этого необычного в таком глухом, казалось бы, месте звука. Что там происходит? Ничего подобного участники войны не слышали до того дня. А впечатление от увиденного было просто потрясающим. В огромной котловине, заваленной лесом, работали тысячи людей, шумела гигантская стройка. И не было у него уже сомнений, что они в конце своего пути, здесь им и жить.

Зона была многонациональна. Здесь отбывали срок представители всех республик, национальных автономий и национальных образований. В бригаде из тридцати человек было обычно до двадцати пяти национальностей. Такие коллективы формировались не случайно. Администрация лагерей очень боялась сплоченности "обиженных" наций. В то же время продумано было сглаживание враждующих между собой национальных группировок. В такой ситуации лагерь, по их мнению, не мог взбунтовать, поднять восстание. Сплоченности эков по национальным признакам больше всего боялись теоретики и политработники ГУЛАГа. Национальная неприязнь же ими использовалась в своих целях.

Украинцы постоянно не ладили с чеченцами и ингушами, армяне - с грузинами и азербайджанцами, крымские татары ненавидели татар казанских.

Были в лагере заключенные из республик Средней Азии, Тувы, Хакасии, которые ни одного слова не знали по-русски. Они обычно старались, несмотря на запрет, держаться группами по национальностям. Кстати, в бытность начальника лагпункта Климеца эти группы не разбивались по многонациональным бригадам. Более того, мне рассказывали очевидцы разговора Мосевича с Москвой, в котором тогда еще заместитель начальника лагпункта по политической части на полном серьезе просил высокого начальника прислать интернациональный дивизион охраны, ссылаясь на то, что

многие заключенные совершенно не знают русского языка. И пусть, по мнению Мосевича, охрана будет состоять из представителей той национальности, какую им придется конвоировать. Им будет приятно слышать команды на своем языке. Но такое желание Мосевича не было поддержано наверху. Там были свои теоретики, там были большие знатоки, как содержать непокорных нацменов.

Большое число заключенных из первожителей лагеря Ольжерас были представители Украины. Это жители районов, какие примкнули к Советскому Союзу в результате пакта Молотова-Риббентропа. Были среди них так называемые "повторники", отбывающие второй подряд срок; первый срок они отбывали в лагерях Мордовии или Казахстана, сюда же прибывали уже с новыми сроками. Поступали и новые этапы из тех регионов - Молдавии, Западной Украины. Это уже были в основном молодые парни, не захотевшие согласиться с вышеназванным документом и в послевоенное время. И всем поголовно давали за измену Родине от десяти до двадцати пяти лет, да еще высылка в отдаленные места.

Недолго здесь держался этап солнечной Грузии. Представители этого гордого и свободолюбивого народа демонстративно отказывались от работы. Держались всегда вместе, сплоченно и независимо. И вовсе не от сознания, что представитель их нации у руля страны. Они тоже были изгои общества. Они были жертвы сталинского террора против собственного народа. Ни одно лагерное начальство не в силах было сломить их волю. И чтобы грузины своим примером не "разлагали" других, их старались переводить этапами из одной зоны в другую. Но к лесу и стройке здесь они так и не стали причастны.

Хорошо устраивались в лагерной обстановке при любом режиме всегда покорные евреи. Я не слышал, чтобы представители этой национальности работали на лесоповале, на каменоломне, в шахте, строили обогатительную фабрику. И здесь, в зоне, их было достаточно. И их "отец народов" не щадил. Статьи у них, как и у других, и в лагере Ольжерас, и в лагере особого назначения были тяжелые, сроки большие. Им удавалось устраиваться нарядчиками, в бухгалтерию, в каптерку, бригадирами, библиотекарями, в клуб, на склад, в столовую, в КВЧ - культурно-воспитательная часть,

почтальонами, то есть на те самые "теплые" места и доходные должности. При нарядчике, бригадире был обязательно зэк из блатных, они имели шестерок, а то и сам вор в законе не брезговал дружить с евреями. Бригадир обеспечивал своему телохранителю сытую пайку, теплый угол в бараке, возможность собирать дань с членов своей бригады, тот же помогал бригаде выполнять план, заставлял работать ударно, наводил порядок в месте проживания бригады, защищал своих бригадников от чужих. Во время отоваривания сахаром, позднее и при выдаче денег существовал такой закон - половина, а кое-где и больше отдавалась тому, кто кулаком или дубиной заставлял работягу подниматься на трудовой подвиг. Не был обижен и обделен, естественно, и сам бригадир, и нарядчик.

Производителю же, как в любой другой системе, приходилось сполна отдавать дань. В лагере говорили, что во времена татарского ига с местного населения ясак был просто смешон по сравнению с поборами в зоне. Элита, цвет, полуцвет хорошо усвоили, что на место погибшего от тяжелой работы и голода, от болезней и избиений завтра пришлют новую рабсилу. У блатного, вора в законе, бригадира, нарядчика обычно сроки были большие, им надо было выжить. Вот отчего мне часто приходилось слышать от бывших узников лагерей Томусы о том, что весь тот беспредел в здешних глубинках-лагерях смогли выдержать только придурки. Они выжили благодаря умению приспособливаться к самым жестоким режимам, находя и там для себя тихое и теплое место, как и в нашей вольной жизни. Только там эта борьба проявлялась, может быть, в более жесткой форме. До последнего времени разве что наша вольная жизнь несколько отличалась от лагерной, до перестройки, до раздела собственности. С того и пошли кровавые разборки. Все за тот же кусок, за место под солнцем.

Весна пятидесятого года в здешних местах была буйной. За зиму выпало рекордное даже для таежной местности количество снега.

Таять начал быстро. Разбить снег и увеличить половодье в реках помогли обильные дожди. Вода в Ольжерасе быстро вышла из берегов и затопила всю пойму. Плавали палатки, бараки, унесло начатую зимой базу-склад для продовольственных товаров. Она

находилась в самом устье реки. Строилась с учетом речного транспорта. Баржи "Минин" и "Пожарский" заходили в русло Ольжераса. Удобно было их разгружать. Удалось спасти мешки с крупой, макаронами. Собрали, подсушили и пустили в общий лагерный котел.

Вокруг зоны пошла колба. Лагерное начальство решило до подхода барж и карбузов выйти из очень трудного положения этим даром природы. Колбу ежедневно заготавливали тоннами. Из нее, сдобрив подмоченной крупой, стали варить баланду. Старожилы вспоминают: утром мимо лагеря невозможно было пройти. У заключенных открылся массовый понос. Через несколько дней рядом с зоной, на берегу Ольжераса вырос палаточный городок, обнесенный колючей проволокой. Началась повальная дизентерия. Местные медики к такой эпидемии не были готовы. Хотя, наверно, они хорошо себе представляли, что могло получиться в результате смешивания жижи из многочисленных туалетов с продуктами, какие не выбросили, а, подсушив на весеннем солнышке, пустили в котел. Но кто бы их послушал! Для администрации лагерные медики не имели особой цены - лепило и есть лепило. Хотя среди тех "лепил" были врачи высокой квалификации, к тому же несколько профессоров.

О ЧП в первые дни наверх решили не сообщать, надеялись на свои силы. Лагерное начальство понимало: понаедут комиссии, дознаются о первопричине эпидемии - не сдобровать. Но больных прибавлялось с каждым часом.

Начальство встревожилось, растерялось и тогда решилось сообщить о своей беде в Кемерово и Новокузнецк. Прилетели высокие причиндалы. Аэропорт в то время был у нынешней площадки турбазы "Югус". До лагеря и пяти километров не будет. Начальство доставили в лагерь на хороших лошадях. Лазарет осмотрели с расстояния и тут же улетели обратно. Однако на другой день сюда челноком пошли самолеты. Прилетали врачи из области. Пока совещались, решали, как загасить эпидемию, болезнь охватила весь лагерь и дошла до вольных жителей вокруг него.

Похоронная команда начала работать в полную нагрузку, братские могилы копали и ночами. И хоронили ночами, чтобы не привлекать



внимания, не нарушать традицию - зэка хоронить только ночью. Трупы складывали у вахты. И вот здесь проходила процедура "прощания", экзекуции над трупом. Начальник конвоя давал команду проверить каждый труп на возможность "мастырки". Один солдат из конвоя протыкал умершего штыком, ударял молотком с длинной ручкой по черепу, чтобы убедиться, что труп настоящий и никого взамен его из живых не подложили. В других зонах, как мне рассказывали, при подобной экзекуции применяли обычный гвоздь на двести миллиметров! Вколачивали его в череп. И когда начальник надзора убеждался, что никакой "мастырки" нет, разрешал бросать труп в ящик, и тогда уже впрягалась похоронная команда. Трупы волоком утаскивали в Шарапов лог, к подножию Лысой горы.

Мне удалось разыскать бригадиров-похоронщиков. Один из них занимался этим ремеслом небольшое время, другой - до конца своего срока. С тем и другим я встречался. Один оказался приветлив, разговорчив, рассказал о той своей работе просто и буднично, как будто это происходило вчера, ничего не скрывал. Другой же, приняв меня так же любезно, рассказывать ничего не стал. "Да работал, там выбора не было, куда пошлют, туда и иди".

Тот и другой просили меня не называть их имена по вполне понятной причине "многие из их близких не знают даже о том, что они отбывали здесь срок.

Так это было. По ночам ящик с трудом поднимали на вершину противоположного холма. Рыли не очень глубокие ямы, сваливали в них ушедших в иной мир своих собратьев, забрасывали сверху землей. И все. Ни креста, ни осинового кола. Надо лишь сказать о том, что каждому усопшему в обязательном порядке к большому пальцу ноги привязывали бирку. Этакую металлическую пластину с номером. Номером дела.

Старожилы Ольжераса рассказывали, что бывали случаи, когда на место захоронения наведывались медведи и раскапывали неглубокие могилы, вытаскивали трупы, приходилось также отстреливать в тех местах бродячих собак. Весной, когда сойдет снег на зимних захоронениях, картина представала не для слабонервных. Из земли торчали то ноги, то руки, то голова. Вымывало трупы водой. Зимой, в

морозную ночь, заставишь ли даже подневольных похоронщиков копать глубокие могилы? Их - глубоких-то и летом не копали. Да никто и не проверял, на какую глубину бросали трупы. Кому нужен был уже списанный зэк.

Эпидемия набирала силу. Огородив палатки с больными, администрация лагеря с медиками из области приступила к спасению тех, кто был еще здоров. В палатках же были уже обреченные, и лишь единицы из них чудом спаслись. И те единицы, как читатель уже догадался, принадлежали к лагерным придуркам. Им доставали спирт, лекарства. Из моих знакомых только двое вырвались из лап смерти, на которую, по их словам, они на сто процентов были обречены.

Было похоронено восемьсот двадцать человек. Эту цифру мне называли многие, в том числе и один из бывших похоронщиков. Ни меньше ни больше - именно восемьсот двадцать.

Хотя и грош цена человеку за колючей проволокой, но и за него иногда приходилось отвечать местной администрации перед высоким начальством из ГУЛАГа. Когда все стихло, когда место зоны-изолятора уже было хорошо обработано, в Ольжерас зачастили высокие гости из управления лагерей области, из Москвы. И досталось же кой-кому по первое число! Не за эпидемию, унесшую сотни жизней, а за то, что лагерь еще не обнесен забором, а лишь колючей проволокой; за то, что материальные ценности лежат до сих пор под открытым небом; за "демократию" в содержании и режиме. "За все прошлое и на год вперед", - как мне сказал Климец. Через несколько дней пятиметровые плахи прямо с пилорамы ставились в забор вокруг зоны.

Новые туалеты вырыли на возвышении. На высоком берегу Ольжераса застучали топоры плотников, начали возводить новую базу-хранилище. Она до сих пор на том месте и стоит, но уже в значительно уменьшенном виде. Вокруг шла стройка вольного люда, надо было брать где-то материал на дома, стайки, изгороди. Все в дело шло.

В первых своих публикациях о лагерях Томусы я утверждал, что гигантской стройке не повезло на поэтов. Я ошибался. Кроме

безымянного создателя поэм "Томуса" и "От Мысков до Ольжераса", в известной уже нам зоне отбывал поэт Антанас Мишкинис - гордость литовской литературы. В лагере Особого назначения его знали как заключенного под номером "Е-853". Но знаменитые на его родине "Псалмы" до сих пор не стали доступными российскому читателю. В этом же лагере отбывал и другой профессиональный поэт - Матвей Михайлович Грубиян (Лев Гумилев о нем сказал: "Фамилия у него такая была, но он был очень добрый человек"). Если и не имел прямого отношения к лагерям как заключенный, то был их свидетелем много лет и известный в Кузбассе поэт Евгений Сергеевич Буравлев. По словам Гумилева, стихи складывать было можно, но только в голове.

И все-таки творчество самодеятельных поэтов, как говорится, било ключом. Ни одно чрезвычайное событие не оставалось незамеченным местными поэтами.

... Третьего июня пятьдесят второго года через реку Усу был открыт подвесной мост. И он тут же рухнул. Вместе с людьми, хлынувшими на него с двух берегов. В центре моста люди встретились, разойтись не было возможности, а с берегов еще и теснили. Мост стал изгибаться, опускаться и перевернулся. Сколько в тот день погибло в бушующей реке, мы никогда не узнаем. Никто не считал тех, кто не вернулся в дом, общежитие, на квартиры, а сколько среди погибших было приезжего люда, что еще не успел стать на учет. В тот год сюда, на новую шахту, ехало много народа со всех краев.

Сколько тех, счастливых, которые в тот день вышли из ворот лагерей на свободу и спешили через тот же мост в дорогу, домой? Они-то наверняка не ждали, когда схлынет людской поток по мосту, наверняка рванулись по досчатому настилу в первых рядах. В Чеболсе и ниже, уже по Томи, несколько дней вылавливали трупы - да все ли собрали! А тех, кого подобрали, кого опознали, кого не опознали, хоронили все у той же Лысой горы, единственном тогда месте захоронения и зэков, и вольных.

Как у нас водится, нашли "крайнего". Арестовали (бесконвойного заключенного) инженера-метростроителя, директора строительства

шахты Абрама Тонкилевича. Он уже однажды был осужден как враг народа. Добавили ему статью за вредительство, к незавершенному еще прежнему сроку прибавили еще десять лет. Но кто-то вступился за Абрама Натановича, провели новое расследование. И доказали, что за наше людское безумие невинный человек страдать не должен. Провели экспертизу. Все было сделано правильно, все расчеты верны, троса и невольки рассчитаны верно и на определенную нагрузку, но в тот день толпа смела бы любого контролера и счетчика.

После той трагедии прошло всего несколько дней. Молодой тогда еще специалист Нина Муштукова при большом, как всегда на переправах, скоплении народа услышала поэму "Томуса". Всего понадобилось несколько дней для того, чтобы местный самодеятельный поэт откликнулся на трагическое событие:

Кто не видел чудеса, приезжай на Томуса,

Утонешь в Усе - поймут в Чеболсе.

Похоронят в Камышах, на высоких берегах...

Поэма большая, полностью ее мне никто не мог прочитать. Стихи, конечно, неуклюжие, но они отражали всю правду событий, местную жизнь. Нине Алексеевне было не по себе от того, что она услышала. Ведь ей предстояло ехать как раз в ту самую Томусу, по направлению. Она подошла к переправе через Усу, вспомнила услышанные на пароме стихи. Все верно, моста нет. По берегу ходили люди с баграми, прощупывали мутную воду, все еще не схлынул поток с верховьев, все еще искали погибших людей. "Да что вы ищите, cedите воду, - говорил мужик с "корабликом" - браконьерская тогда еще снасть для ловли рыбы. - Они, поди, уж до Ледовитого океану доплыли!" Нина Алексеевна содрогнулась от мысли, что предстоит ночь, а она все еще не устроена на ночлег. Вспомнила: в той поэме говорилось и о ножах. Но Бог миловал. Нина Алексеевна прожила в Ольжерасе, а потом и в Междуреченске с той поры больше сорока лет.

Однажды осенью к вахте местные жители из шорского поселка привели двух беглецов под вилами.

- Барана зарезали, а так пусть себе с Богом шли бы, не тронули бы, - жаловались шорцы начальнику охраны.

Поселились беглецы недалеко от улуса в стоге сена. Решили здесь запастись хорошей провизией на долгую дорогу, набраться сил. Но не знали они таежных законов, тогда еще существовавших. А шорцы особенно народ открытый, гостеприимный, на беду отзывчивый. Не пакости им - и они тебя не видели, не знают, не проходил. Пакостить - себе же во вред. Вот и попались беглецы на подлости, а это уж шорцы простить не могли. Им и самим не сыто жилось, а тут враз убрали надежду всей семьи. Могли же теми вилами и запороть беглецов - и никто не узнал бы. Но шорцы в те годы еще свято чтили законы тайги. Самосуда не стали устраивать.

Драматична судьба двух беглецов из большой зоны в Междуречье лагеря особого назначения "Камышлаг". Двух бывших военных, двух разведчиков - майора и старшины. К побегу они тоже долго готовились. И решились на самый дерзкий и немыслимый маршрут - пройти через стены из колючей проволоки, через запретку, огненную полосу. А ведь даже появление в пяти метрах от той стены каралось выстрелом без предупреждения, а тем более на запретке, на огненной полосе!

Зона была расположена на болоте, бараки стояли на высоких сваях. На сваи была постелена пешеходная дорожка из нескольких плах. Высокую траву и камыши за лето скашивали несколько раз. По запретке ночью пускали собак. Тех собак держали в питомнике. Кормить поручили двум будущим беглецам.

Возможно, идея убежать у них была раньше, в собачий питомник они добились попасть, когда уже был до мельчайших подробностей разработан план побега. Ведь они решили идти через полосу, через стены из колючей проволоки и забор высотой в шесть метров! Но они не собирались бежать через забор, а решили пройти низом. Там, где под забором была вода, болото, надо было пролезть сквозь болотную жижу. Это лучше, чем ехать в баке с фекалиями! Место для начала своего побега ребята выбрали самое верное. Они прохаживались иногда вдоль забора, изучали местность. Нашли. Им надо было идти

строго на юг. С первых своих шагов. Опыт фронтовиков им очень пригодился.

Собаки к разведчикам привыкли быстро. Собаковод даже говорил, что у них хорошо получается, им бы собаками заниматься, а они вот срок мотают. За несколько месяцев зимы наши герои знали всех собак и те их допускали к себе, одним словом, сдружились. А тут подошла весна, сошел снег. Стали ждать начала лета. Майор, скорее всего, был из Алтайского края, хорошо знал свою родину, особенно юг края.

Белогорье давно многих тянет к себе. Самые мужественные смогли перейти через множество перевалов и оказаться в райском крае. Там майор и решил скрыться от своих преследователей. Он знал, где и как. На побег шел уверенно. Идти решил со своим фронтовым товарищем, надежным разведчиком и человеком. Рассказывали, что ребята были молодые, не старше тридцати лет майору было, чуть старше старшина.

Разведчики ушли в первый день июня черной дождливой ночью. Ни собаки на полосе запретной их не услышали, ни часовой с вышки не заметил, скорее всего, дремал или прятал лицо от холодного ночью ветра. Ушли, как в воду канули. Никто из специалистов управления даже не нашел от побега никаких следов. Ни в зоне, ни за зоной. Кстати, так до сих пор об этом побеге подробности даже спецам не известны. И только сейчас они смогут узнать о том, как двум фронтовикам удалось уйти из лагеря Особого назначения. Вот из этого моего рассказа. А мне рассказал об этом литовец. Один из беглецов рассказал ему, как им удалось уйти, уже в вагоне поезда, когда они ехали из лагеря как обычные граждане. Случайно два лагерных товарища разговорились о том побеге, и литовец поинтересовался впервые столь загадочным исчезновением двух эков. Сколько шума они наделали тогда! Поражал не факт самого побега, а как ушли, где ушли, кто им содействовал? Вот что волновало лагерную охрану и оперов.

Прошла неделя, две, месяц. Наступила осень, а за нею, как водится, зима. О беглецах стали забывать. "Ушли, видимо, с концами", - решили те, кто мысленно желал бывшим разведчикам удачи, кого этот побег вдохновлял. Вот в это время и привезли

беглецов в зону. Здесь им добавили срок за побег, нарядили в новую эковскую робу с номерами и отправили на каменный карьер.

А ведь побег вначале складывался удачно. Прошли они уже сотни километров, миновали все перевалы, реки и речушки. Все ближе было, по их расчетам, до Белогорья. Уткнулись в монгольскую границу. Это по карте от наших мест она рядом! И здесь "благополучно" попали в руки пограничников, случайно напоролись на секрет. Те ловили, ждали перехода границы шпионами, а попали свои. Через границу беглецы вовсе не собирались идти.

### **Кумзас.**

За этим словом несколько лагерей. Небольшая таежная речушка, впадающая в Томь. По ее берегам - зоны. Все население их - и женское, и мужское занималось лесоповалом. Лес зимой доставляли на берег реки. Наворачивали гигантские плотбища. Весной, как только сойдет большая вода, как только обозначится русло, их сталкивали в воду. Где-то тракторами, где-то и руками, в воде уже баграми направляли на стремнину. Лес забивался в прибрежные кусты, набивал до отказа все курьи, оседал на островах. Тогда приступали к своей работе сплавщики. Бригадами обычно спасали попавший в беду лес, выводили к большой воде и отправляли плыть дальше. Работали на зачистке - это на языке сплавщиков.

На устье Кумзаса и по берегам Томи работали несколько бригад сплавщиков. Одна из таких бригад и решила уйти в побег. Случилось это в последних числах мая.

Там тоже готовились, наверное, к побегу, тоже на что-то надеялись, во что-то верили. Собирали в бригаду своих мужиков, тех, кто больше всего рвался на свободу. Рассчитали ребята все до мелочей. Заготовили и спрятали рядом с плотбищем продукты, табак, спички. В один из последних выходов были все в новой одежде. В ней те дни и проходили, охрана к тому без внимания отнеслась, подошел срок обмена, вот и переоделись. Знали отчаянные ребята, что свободу они обретут не завтра и не послезавтра, а тогда только, когда

все пойдет по их сценарию. Но и сами создавали нужную им ситуацию.

В назначенный час в одно мгновение они разоружили охрану. Руководил побегом человек трезвый и умеющий просчитывать много ситуаций наперед. Солдатиков из среднеазиатской республики оставили живыми - их дома родители ждали. Связали, как им показалось, надежно. Забрали оружие, боеприпасы, еще и курево, и спички и - в путь!

На двух лодках ушли. Лодки узкие, длинные и вместительные. Река тут же подхватила беглецов и понесла вниз по течению. Отказавшиеся от побега зэки через некоторое время развязали солдат, и те что было духу рванули докладывать своему начальнику. Лагерь был недалеко от берега. Командиры тут же связались со своими коллегами из соседних лагерей, стоявших ниже по Томи. Там тоже по берегам работали сплавщики, значит, охранялись. Пошла тревожная телеграмма эфиром и в лагункты ниже вплоть до Чеболсу, а там и дальше. Все имеющееся в наличии воинство с оружием в руках, собаками высыпало на берег Томи.

В те минуты, пока эфир был занят тревожными телеграммами, беглецам удалось уйти до острова напротив Карая. Прошли несколько километров. Уже на подходе к острову они поняли, что путь им перекрыли, впереди они увидели солдат на лошадях. Поняли, что не проскочить, попали. Днем светло, а там на чистом месте их как кур перестреляют.

Остров был длинный, сплошь заросший тальником. Но он еще был почти голый, зелень только-только пошла. Им нужна была темнота, в сплошной темноте, наверное, и можно было проскочить несколько километров, пройти все те места, где почти в буквальном смысле зона на зоне. А в это сплавное время вся солдатня на берегах охраняла сплавщиков, от бригады до бригады сотни метров, не более. Высадились десантом на остров, затащили за собой и лодки.

Беглецы понимали, что без лодки их просто перестреляют по одному.



Укрыться-то негде было. А прицельным снайперским выстрелом их всех изведут еще до прихода темноты. Залезли в самую чащу, стали ждать.

Однако к вечеру ситуация стала меняться не в пользу беглецов. У лодок они не поставили караульного, да если бы и поставили, что толку: воевать с армией не резон. Лодки у них отбили, вернее, взяли тихо, без единого выстрела, они в своей глуши, в самом центре острова, и не слышали, как увели их лодки. С берега что-то кричали. Для них было ясно - попали. До вечера, до темноты им не дадут дотянуть. Послали в разведку молодого. Если не стреляют, огнем не выгоняют из укрытия, значит, солдатики что-то затеяли. Так просто они убивать время не станут, у них командиры тоже думать умеют. А командиры не спешили, решили взять всех и без своих потерь.

Никуда беглецы не денутся, обложены они со всех сторон. Об этом и доложил разведчик старшему по побегу. В бой вступать бессмысленно, себе же хуже. Пусть лучше добавят за побег, чем сыграть в деревянный ящик или надеть "деревянный бушлат", как зэки еще говорили.

Темнота наступала. В это время здесь стояли очень темные ночи. На своем небольшом "толковище" беглецы решили: кто умеет плавать, кто не боится воды, надо зацепиться за проплывающее бревно и тихо проплыть опасную зону, выбраться на левый берег, он меньше заселен зонами, а значит, и меньше охраняется. И кто куда. Несмелые и неумеющие плавать могут идти сдаваться ментам хоть сейчас. Другого выхода они не видели. Его и не могло быть. Или идти сдаваться, или идти в воду.

Кто-то, наверное, больше желал свободы и воли, кто-то из самых грешных перед родным государством решил испытать последний шанс и вступил в воду. По реке сплошняком шел лес. Ну, братцы-арестанты, мы пошли. Вступили в ледяную воду с поднятыми над головами руками, в руках одежда, обувь - до спасительного берега их желательно сухими сохранить. Чтоб согреться на берегу можно было.

Все ли мы знаем о человеческих возможностях? Кто-то выдержал ледяную купель, не свела его судорога, продержался час, другой,

дотянулся до левого берега реки. Уже на неохраняемом берегу вышел один из беглецов. Оделся, пусть и в мокрые одежды, прислушался, осмотрелся - далеко в темноте видны фонари над вахтой в зоне Сыркашей. Тихо кругом. Но ему в другую сторону, в темноту. Там его ждут множество перевалов, реки и зоны на их берегах. Их он будет обходить. Дойдет ли он до цели? И есть ли на земле нашей место, свободное от охраны?

А на острове осталось несколько тех, кто уже подсчитывал про себя свой срок с учетом добавки за побег, обдумывал, как бы подстойнее сдать. Утром над островом туда-сюда пролетел самолет-кукурузник. Вызвали из Сталинска. Высокое воинское начальство сверху осматривало стратегический объект, подсчитывало силы противника. Правда, подсчитать всех не удалось. Скорость полета и густая молодая зелень помешали им это сделать. Но после того полета по острову с обеих сторон началась бесшабашная стрельба. В рупор охрипший голос призывал "граждан заключенных" сложить оружие и сдать.

Высаживаться десантом на остров воины не решались. Решили ждать. И еще одна ночь прошла. И опять с утра над островом появлялся несколько раз самолет. И опять - призыв сдать оружие и выходить. А на острове были только заключенные - без табака, спичек и еды. Оружия у них тоже, естественно, не было. Оружие уплыло с теми ребятами. Может быть, оно с той ночи лежит на дне недалеко от того острова ниже по реке. А кому повезло, тот уже очень далеко, за синими горами. "Ищи ветра в поле, а волка в лесу" - правильная поговорка, тоже про зэка, наверное, сложена.

Они не стали ждать десанта на свой остров Свободы, после полудня все вышли из своего укрытия на берег.

- На, забирай нас, начальник!

О массовом расстреле заключенных в лагере Ольжерас я впервые услышал в пятьдесят восьмом году. В юности серьезно занимался живописью, приехал сюда писать этюды. Было это в самом начале осени. Тайга, а она в те времена окружала город со всех сторон, только набирала силу осенних красок. В такие дни я провел много

часов на берегу Усы, писал большой этюд. Вот тогда ко мне подошел человек значительно старше меня, сел на опрокинутую лодку и долго смотрел, как я работаю. Он мне не мешал. Помню, я старательно выписывал скалистый обрыв Лысой горы. Тогда тот человек и спросил, знаю ли я, что там была каменоломня. Я не знал. И он рассказал мне о том, как тысячи заключенных "грызли" эту скалу. "А вот те дома, обогатительная фабрика - во-он дымит! - и комбинат шахты стоял на том камне", - сказал он.

И о расстреле заключенных рассказал. Все началось с той каменоломни.

Случилось это шестого июня пятьдесят первого года. Было воскресенье. Очень тихий жаркий день, солнце висело над Ольжерасом. Никто не предполагал, что вот эту тишину скоро разорвет автоматная очередь, а за ней начнется настоящая фронтовая стрельба, заговорят крупнокалиберные пулеметы. Старожилы помнят: бывала иногда стрельба, но чтоб такое!

Василий Герасимович Соловьев в тот день готовился проводить в зоне культурное мероприятие. Он уже работал в КВЧ - культурно-воспитательной части. Основная масса заключенных была на солнце, грелась - был выходной. Всех воров в законе и их приближенных еще ранним утром увели на каменоломню, до того они разгневали лагерное начальство, устроив в клубе во время киносеанса поножовщину с ссучившимися ворами. После "разборки" воров поместили в двенадцатый барак - БУР - барак усиленного режима. А утром построили в колонну и прямым ходом на каменный карьер. Видано ли было, чтобы вору работали, да еще в каменоломне!

Но вор, он и в Африке вор, как говорится. В каменоломню вездесущие их шестерки мигом доставили первыми же машинами водку. "Камнетесы" развели костер и начали гулять. Надзору такой разворот событий не понравился, быстренько сообщили своему начальству. Те примчались, а вору уже распевали блатные песни. Капитан Арутюнянц был крутой по характеру: приказал начальнику конвоя лейтенанту Беседину немедленно вести пьяных воров в зону.

Воры идти в зону не захотели. Им понравилось на лоне природы. Видимость с тех мест отличная, рядом река, воздух - дыши не надышишься! Солдаты стали поднимать их силой, прикладами, началась свалка. Свалили и лейтенанта. Вот тогда и прозвучал первый выстрел, из пистолета пока. Выстрел некоторых отрезвил. Кто-то из влиятельных воров предложил всем идти в зону. У него уже созрел план. Так просто они ментам сдаваться или уступать не собираются. Им необходим был праздник для души. Все понимали, что в зоне, в штрафном изоляторе охрана сделает из них все, что захочет, так просто это дело Арутюнянц не оставит. Он люто ненавидел воров любой окраски. Когда колонна дошла до поселка Ольжерас, до самого ее центра, воры попадали на землю и что было сил стали кричать своим в зону - она была напротив, через Ольжерас, как на ладони перед ними: "Бунт! Поднимай бунт!" Послушные шестерки команду своих паханов услышали и начали носиться по зоне, обнажив заточки и пики. Надзиратели, работники КВЧ, другие лагерные придурки бросились к вахте. Шестерки и оставшиеся в зоне блатари стали выгонять заключенных из бараков. Для страха, для того, чтобы придать своим действиям серьезные намерения, на площади закололи несколько надзирателей. С десятков шестерок влетело в КВЧ: "Давай оркестр!" Собрали быстро оркестрантов, вручили им их музыкальные инструменты: "Играйте, падло, "Интернационал!" Оркестр грянул: "Вставай, проклятьем клейменный..." Не менее сотни зэков оставались в БУРе. Их освободили. Затем и узников лагерной тюрьмы - ШИЗО.

Штрафники тут же начали поджигать все подряд. "Смотрю краем глаза (Соловьев все еще был закрыт в КВЧ под охраной шестерок) и вижу: на вышку затаскивают пулемет. Ну, думаю, сейчас всем жутко будет!" Толпа из нескольких тысяч зэков напирала на ворота. Сзади их теснили пиками и заточками блатари.

Потом дошла очередь и до придурков из КВЧ - их вывели и поставили впереди колонны перед воротами. С внешней стороны зоны, за воротами, уже выстроились солдаты, свободные от вахты, с автоматами. На помощь им из всех соседних зон и из Мысков спешили резервы в несколько взводов в полной боевой экипировке, из соседних зон - верховые. А на горке, напротив зоны, лежали воры и истерично орали: "Бу-унт! Бу-унт!".

Ворота натиска толпы не выдержали и рухнули во внешнюю сторону. В тот самый момент Василий Герасимович упал в глубокую траншею - в зону тянули водопровод. В это время как раз и ударили автоматы, заработал пулемет с вышки по всей зоне. На Василия навалилось несколько человек, прикрыли его еще надежнее. Тоже находчивые ребята были, тоже фронтовой опыт пригодился!

Беспощадная стрельба, крики тысяч заключенных были слышны в соседних зонах. Начались беспорядки, массовая поножовщина. Обиженные начали резать шестерок, и блатных - своих обидчиков. Те защищались отчаянно. Но охране удалось-таки положить всех заключенных на землю. Тогда и наступила тишина.

Тогда-то и послышались крики: "Давай врача!".

Пришли врачи, другой медперсонал. Работы для них в тот день было чрезвычайно много.

Анатолий Маркин оказался среди тех, кого шестерки теснили к воротам. Оркестр играл марши. Как только началась стрельба, многие бросились в ближайшие укрытия, падали на землю. Анатолий успел добежать до котельной. Там был ремонт. Залез под котел вместе с несколькими заключенными, прикрылись железным листом, чтобы понадежнее было. Вышли из своего укрытия, когда услышали в тишине голос: "Выходи, кто живой!".

Быстро выяснили зачинщиков бунта и беспорядков. Вместе с ворами, блатарями, шестерками колонна двинулась в соседний лагерь через Усу, в строящийся лагерь особого назначения в Междуречье. И там прямым ходом в только что отстроенный БУР. Утром следующего дня беспорядки начались и в той зоне. И туда подъехал дивизион солдат. На переговоры с бунтовщиками пошел начальник лагпункта майор Башкиров. Навстречу ему из толпы с ножом в руке вышел уголовник, но до начальника не дошел несколько шагов, снайперской пулей он был сражен наповал. И тут же ударили пулеметы. Мой знакомый Алексей Петрович Аносов залез под барак. Бараки были на сваях! Не успевшие спрятаться под бараки или другие укрытия заключенные легли перед вахтой - убитыми или ранеными.

Утром другого дня этап из более чем трехсот организаторов бунта был отправлен под усиленным конвоем в Кемерово, в Мозжуху, долбить каменный утес на берегу Томи. Там еще долгие годы находился лагерь особого строгого режима. В те годы камеры-одиночки находились в конурах, в горе, а на заключенных надели полосатую робу. Редко кто освобождался оттуда.

Чрезвычайно редко.

Жертвы того бунта были похоронены у подножия Лысой горы. Гроботесы делали большие ящики, в них складывали убитых. В один день справиться не могли, и могильщики занимались похоронами пять-шесть дней, работая в несколько смен.

Точное число убитых никто не знает. "А кто их считал! Бросят труп в ящик с биркой на ноге и все. Ни креста, ни осинового кола".

Особенно лютым после тех событий стал капитан Арутюнянц. Он вообще нетерпим был к блатным, а после такого беспорядка, обходя строй заключенных, осматривая каждого, сообщал: "У кого орел-птычка, не забуду мать родную (наколки на руках, на других местах тела) - каменный карьер!" Долго еще заключенных этой зоны сортировали по качеству, числу судимостей, срокам, статьям. И отправляли кого этапом "где Макар телят не пас", кого через реку Усу в другие зоны, все в той же Томусе. Отремонтировали после пожара БУР, котельную, навели порядок в зоне, провели воду. Подготовили зону к приезду номерников. В лаготделении оставили только одну службу, то есть самых "тихих", для обслуживания нового лагеря - лагеря особого назначения "Камышлаг". Попробуй угадай, где это?

До зимы, до прихода сюда первого этапа, в зоне жили те, кого оставили для обслуживания политических заключенных. Кто был кочегаром, кто электриком, кто банщиком, кто слесарем, кто кем. Исчезла и похоронная команда. У политических она своя будет. И все в том лагере будет по-другому, начиная от режима. Сюда придут люди с номерами. Без имен, фамилий и отчеств.

"По мастям" в любой зоне разбивались быстро. "На утверждение", как это всегда случалось, надо было отправить на Лысую гору

несколько самозванцев или их шестерок, а еще ценнее - авторитета. После этого устанавливается порядок. Начальника зоны назначает начальник ГУЛАГа, а в зоне власть надо было завоевать в смертельных порой схватках. Есть в любой зоне и "толковище" - высшее собрание воров и авторитетов. Это вроде "тайной вечери" воров в законе. Высшие должности занимали самые именитые, не районного, конечно, масштаба - всесоюзного, обязательно коронованные на воровской сходке. Ему подчинялись воры в законе рангом пониже, областного масштаба, что ли, и так далее. Все они были у корыта, но протягивали руки только с разрешения "папы". Воры закреплялись за каждым баракком, бригадой.

Их надо было любить. Все они получали лучшую пайку, а это их вдохновляло на наведение "порядка" в бригаде, в бараке, в зоне. Ножи их шестерок, кулаки и дубины нарядчиков, бригадиров и блатарей стимулировали выполнение бригадой плана, получение повышенной пайки, зарплаты. Посылки, передачи тщательно проверялись, перетряхивались. Брал вор, его шестерки, блатари, нарядчики, бригадиры, коптерщики. Элите доставляли в зону спирт, вино, водку, коньяк, хорошую и калорийную закуску - икру, рыбу, копчености, масло, сахар, конфеты, хороший табак. Все это в большом количестве всегда было в тумбочке "папы". Их постель всегда была тщательно прибрана, угол отделен от окружающего мира ширмой. Простой зэк даже заглянуть за ту ширму не имел права. За любопытство сурово наказывали, не исключая смерти.

Заклученный не был защищен с первой минуты заключения. Блатные его встречали в камере, шмонали, и послушные шестерки тут же снимали все, что им понравится, отнимали то, что не отняли у него при обыске-шмоне. Главварь на нарах определял, куда поместить новенького. Судьба заключенного теперь полностью была в руках "пахана" камеры. Если "свой" - был и соответствующий прием - в красный угол, непокорным - место рядом с парашей.

Василий Герасимович вспоминал: "В лагерь наш этап прибыл двенадцатого мая сорок девятого года. Прошли проверку перед вахтой. Смотрю, а там стоит уже группа встречающих. На мои офицерские сапоги сразу же глаз "положили", а во главе компании нарядчик. Морда - во! О таких говорят: хоть поросят об лоб бей!

Записал он нас на фанерную дощечку. Меня придержал рукой, мол, ты мне нужен еще. Я не знал лагерных порядков. В дороге мы держались дружно, защищали друг друга, а тут все как-то растерялись. Мы - фронтовики, с чего это мы уступали бы какому-то блатному? Не могло такого быть. А в зоне меня в буквальном смысле разули. После того, как нарядчик тот переписал нас всех, обратился ко мне:

- На стройке работал?

А сам не на меня, на сапоги мои смотрит. Тех сапог мне на весь срок бы хватило!

- За бригадира пойдешь! - сказал "морда". - Набирай себе тридцать девять человек. Сам сороковым будешь. Понял? А сапоги придется снять. Здесь тебе не дом офицеров, сам понимаешь, куда попал.

И тут же - наряд своей "шестерке".

- Принеси ему сменку, - показал он на сапоги. - Триста граммов масла и буханку хлеба.

Принесли мне сменку - белые, с брезентовой голяшкой, на резиновом "ходу" ботинки. Новые, ни разу ненадеванные, фабрикой, их выпускающей, еще пахли. Разулся я перед молчаливыми своими братьями-фронтовиками. Никто слово не вымолвил. Как же нас эта обстановка сразу раздавила!

Записал нарядчик бригаду на другой дощечке и повел в дальний угол зоны, указал холеным перстом:

- Здесь ставьте палатку, лес, вот он. Рубите, что вашей душе угодно, что понравится. К вечеру чтобы чин-чинарем было. Понятно?

На свою горькую судьбишку заключенному жаловаться было некому. Да и опасно это было. Опасно было делиться своей бедой. Здесь каждый должен был знать свое место, каждый должен был знать, куда он попал. А это был мир, моральным кодексом которого



был закон волчьей стаи. Прячь свою боль и страх, свою радость и недовольство системой. "Промолчи - сойдешь за умного" - эта пословица наверняка родилась уже в наш век, в наших лагерях.

Страдание и страх сделают тебя заметным, покажут твою несостоятельность. И тогда такой становился уязвим для самого ничтожного блатаря, какого откинула от себя давно элита, но ему тоже жить хотелось. На обиженных только они и держались в лагере. Это уже позже обиженные объединились и стали представлять силу, способную сопротивляться, а в отчаянии и снести все на своем пути.

А теперь у нас есть возможность узнать о судьбе партизана Великой Отечественной, отца тех детей, которые вместе с матерью пробивались из Белоруссии в Томусу. Совершенно случайно, от кого и не ожидал, услышал я следующее.

Николай Гребенюк - так звали белорусского крестьянина. Ему оставалось отбыть несколько месяцев до окончания срока. Он еще не знал, что к нему прибывает семья, но уже строил свои планы на жизнь. Однако он забыл, что в нашем государстве человек не мог быть хозяином своей судьбы. За него все решили в высоких кабинетах. Стройка в Томусе набирала силу, требовалось все больше рабочей силы. Там, в верхах Лубянки, уже не знали, кого сажать, а тут срок подходит к концу. У нашей власти был уже проверенный маневр - посадить второй раз. Тех несчастных и обездоленных в лагерях называли "повторниками". И решили еще раз пустить рабсилу по второму кругу. До особого указа. И это при том, что в лагере работала комиссия по досрочному освобождению, пересмотру дел в связи с амнистией, объявленной после смерти Сталина в пятьдесят третьем году. Николая Гребенюка тоже вызвали на ту комиссию. На досрочное освобождение он не надеялся, не по уголовной статье он осужден. Это их, уголовников, каждый день сотнями из ворот лагеря выпроваживают, а он - по политической статье. Да и полгода осталось до окончания срока, подождет. Остаток срока его вполне устраивал, больше пережил, он терпеливый. На комиссии его расспрашивали, как, за что дали срок, где он родился, кем сейчас работает, хорошо ли ведет себя в зоне. То да се. Вяло как-то, неохотно даже спрашивали, словно им неинтересно было с ним. В зоне мужики подбадривали его: там разберутся, а в твоём деле им и разбираться, мол, нечего, все

просто, пустяк, одним словом. И не сегодня-завтра шагать тебе, Николай, к своей семье. И он так думал. Ни с какой стороны не чувствовал он вины перед своей державой.

Большие группы заключенных каждый день выходили из ворот лагеря на свободу. Николай ждал вызова. Однако он решил справиться, не забыли ли о нем. Все возможно. В комиссии - пять человек, а в зоне - семь тысяч. В такой суматохе и затерять его дело могли, и забыть, потерялась где-то и карточка.

Нет, о нем не забыли, карточка его не потерялась. "Жди", - сказали.

Его вызвали тогда, когда в зоне стало почти пусто. Те же люди в комиссии, уставшие и еще более грубые. Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? И - новый приговор, удар, от которого он не помнит, вышел ли он сам или его выволокли на улицу кто-то. Пять лет до особого указа.

Какое надо иметь сердце, чтобы оно выдержало такое?

Николай Гребенюк сник, ушел в себя, стал отказываться от работы, опустился. По зоне ходил, словно тень. Не спал ночами, не ходил в столовую, не справлялся у почтальона о письмах. Последнее он получил полгода назад. Жена писала: решилась на дальнюю дорогу и с детьми будет добираться до него. С тех пор никаких известий. Ни писем, ни жены.

За отказ от работы ему урезали и без того скудную пайку. Приносил ее ему сосед по нарам. Николай проглатывал самую малость и опять заворачивался под тряпки. Молчал, словно у него враз отняли язык. В зоне все время смотрел в одну сторону, на вершину Лысой горы. Так мог стоять часами. Обессиленного, больного, его однажды подняли с земли у общей уборной, он был весь в фекалиях. Мужики отвели его в баню, обмыли, одели во все чистое и сухое.

Кто-то предлагал отвести его в санчасть, показать "лепиле" здесь, в бараке. После бани он несколько дней пролежал на нарах, не поднимаясь даже к пайке.

Он все же нашел в себе силы... Его нашли в уборной в петле. Мужики решили похоронить его по христианскому обычаю. Сделали гроб и выкопали могилу. Вместо креста поставили кол с трафареткой - номером его дела. На вахте охранник все же проткнул его грудь штыком, иначе было нельзя, таков порядок. Позднее кто-то поставил ему православный крест, но с жестянкой, на которой написали: Николай Гребенюк.

Да не сохранился тот крест на лагерном кладбище.

Другая судьба. В той же зоне отбывал срок паренек по имени Женя. Фамилию его за давностью лет Сергей Сорокин забыл. В годы войны сирота скитался по стране, а после нее ему дали шесть лет за бродяжничество. Прибыл в лагерь в Ольжерас, а запомнился он тем, что был самым младшим в зоне, веселым, неунывающим пареньком. Приятный, общительный и до любого ремесла жадный был. Всему старался научиться.

Как мы уже говорили выше, у каждой "морды" была слабость к мужскому полу. Предпочитали юношей, склоняли силой ли, всемогущим ли своим положением к сожительству. Вначале "морда" прикармливал мальчишку, старался с ним быть ласковым, любезным, что отец родной. Потом притязания становились настойчивее, делал он недвусмысленный намек на то, что все равно его добьется, а иначе соживет со света. Жить Жене становилось все хуже и хуже.

Но сдаваться он не собирался, превращаться в еще одну "Марусю" в зоне не желал. Надо сказать, что в тех условиях, в каких оказался Женя, выстоять было чрезвычайно трудно, защиты неоткуда было ждать. В такие дела никто не вмешивался. Да и кто из-за пацана стал бы терять отношения с самым грозным нарядчиком. Себе лишь беду накликал. Кому хотелось видеть небо с овчинку?

Не было таких охотников.

Женя зашел как-то в КВЧ. Он активно участвовал в самодеятельности, учился играть на балалайке, хорошо пел и плясал. Здесь-то он и пожаловался на свою судьбу. Никакого уже выхода он не видел. Или уступить домоганию нарядчика, или... И предложили мужики спасительный вариант. Стать "врагом народа", срочно заработать 58-ю статью и уйти в зону лагеря особого назначения, где отбывали политические. Схлопотать статью было плевое дело. Жене дали лист бумаги - пиши письмо, и чтобы в этом письме ты написал что-нибудь грозное против самого "вождя и друга детей". Была у него родная тетка, с которой он переписывался. Женя написал. В конце своего короткого письма он добавил:

"Смерть Сталину! Да здравствует свобода!" Письмо тут же отнесли в спецчасть на проверку цензора. Через час Женя уже сидел в камере-одиночке. К его небольшому сроку за бродяжничество, который в том же году у него заканчивался, добавили "десятку" уже "за терроризм" с отбыванием срока наказания в лагере особого назначения. В лагере, из которого ушел с тяжелой статьей, запустили вслед добавку - террорист. Так и остался он в памяти моих знакомых как Женя-террорист.

Дальнейшая судьба Жени-террориста мне неизвестна. Но скорее всего он в пятьдесят четвертом вместе с другими политзаключенными лагеря особого назначения был отправлен в Омск на строительство нефтекомбината, а там до пятьдесят шестого его досрочно освободили и реабилитировали из-за отсутствия состава преступления.

Из ситуации, в какую попал Женя, был один выход - покончить с собой. Вешались, бросались на огненную полосу под выстрел вертухая с вышки, бросались на своего обидчика с топором или пикой. Кто-то в такой схватке побеждал. Чаще, конечно, сильный. В первые годы особенно было развито доносительство. Бывшие заключенные вспоминают о том, что резали сексотов почти каждую ночь, но от этого их, сексотов, не становилось меньше.

Анатолий Маркин утверждал, что в его зоне было засекречено все настолько, что они, зэки, не знали, что делается в соседнем бараке, кто живет в соседней секции, в соседней бригаде. Не положено было

знать. О политике - ни слова. Оперы зоны ежедневно были озабочены, казалось, только тем, что в прошедший день они никого не привлекли, не посадили в БУР или не завели новое дело, не завербовали нового сексота.

Разные методы применяли в борьбе за свои права заключенные. Но то, что "выкинул" один из узников Ольжераса, в сознании как-то не укладывается. Об этом случае я слышал от многих бывших заключенных, а также и от майора Николая Степановича Оселедкина. Вот что он рассказал:

- В борьбе за свои права один из заключенных решился на жестокий по отношению к себе шаг. Я много проработал в органах, но такого не слышал. Не помню уже, какие мотивы побудили человека на подобную экзекуцию над собой, но тот случай буквально потряс издававших виды и зэков, и нас, специалистов.

Нашел он нитки и уголку. Но это не сложно. Эти необходимые в быту предметы были у многих зэков. Но тот заключенный находился в то время как раз в изоляторе, а там подобные предметы изымались в обязательном порядке, но он их или пронес, или добыл там. Так вот, в один из дней своей отсидки за какое-то нарушение режима он на голое тело пришил пуговицы, в два ряда.

Зашил рот и глаза. Тремя гвоздями на 150 мм попросил своих друзей по камере прибить к лавке его кисти и... мошонку! Вот в таком виде он и предстал перед оперуполномоченным старшиной Ерастовой.

Женщина она была строгая, крутого нрава. Картина, представшая перед ней, несколько не испугала и не смутила ее. Она подошла к заключенному, согнула гвозди, вытащила их, а все остальное доделали медики санчасти. Уголовник он был с большим опытом, не то с пятой, не то с седьмой походкой отбывал в тот раз. После излечения его этапом отправили в больницу для душевнобольных.

Вот и вся история. Я это хорошо все запомнил, поверьте, не каждый день такое встречалось.

В Ольжерасе отбывал срок известный в довоенные годы в музыкальном мире композитор Пятигорский. О предстоящих этапах заключенные лагеря обычно знали заранее. И часто знали фамилии кандидатов на этап, а нередко и его маршрут. На этот раз готовился этап на Колыму. Среди проштрафившихся зэков в немилость попал и композитор. Зэки не хотели отпускать его на этап.

Композитор руководил оркестром, был вообще милым человеком, хорошим собеседником, надежным товарищем. Оркестр к тому же совсем недавно стал первым на областном смотре, который проходил в зоне Ольжераса. Его премировали новым инструментом, большой библиотекой. Не хотел испытывать свою судьбу Колымой и сам композитор. Надо было что-то предпринимать.

Композитора можно было спасти только через санчасть. Но он чувствовал себя наилучшим образом: ведь содержался на особом пайке, получал к тому же приличные посылки. Решили: Пятигорскому надо срочно заболеть. Придумали опытные лагерники нехитрую мастырку. Чтобы ею не навредить здоровью, надо было до темени в глазах и голове "накуриться" чаем. Чай в зоне всегда был в дефиците, но что не сделает зэковская солидарность! Никогда не куривший даже табака, композитор вскоре дошел до нужной кондиции. Медицинский изолятор спас его от этапа.

Кстати, самодеятельный коллектив лагеря дважды побеждал в областном смотре. Неудивительно! В этом лагере отбывали великие профессионалы - режиссеры, актеры, музыканты, поэты, художники.

В округе было, как я уже говорил, свыше сорока зон. Попробуй найти своего родственника, если не знаешь точно, в какой конкретно зоне он находится. Часто не могли ответить на вопрос о месте содержания заключенного и в спецчасти, где вроде бы все и про всех должны знать. Но надо учесть, что спецчасть знала все только о заключенных лагерей, относящихся к "Южкзбасслагу". Здесь же были лагеря, которые подчинялись ведомствам, в том числе и самому Лаврентию Павловичу Берии. А кто там - было покрыто великой тайной.

Анастасия Сергеевна Афанасьева приехала в Ольжерас молодым специалистом в пятидесятом году. Вскоре к ней прибыла землячка из Алтайского края и ежедневно в течение десяти дней с утра до вечера обходила ближайшие зоны с надеждой разыскать мужа. По утрам она становилась рядом с вахтой и, когда мимо нее проходили колонны заключенных на строительные работы, кричала имя и фамилию своего мужа. Охрана ее гнала, ругала, пинала, швыряла, материла, но она не отступала. И на второй, и на пятый, и на десятый день ей никто не откликнулся. Тогда она решила всю передачу, какую везла мужу из алтайского села, раздать заключенным. Утром вышла на дорогу, по которой должны были вести заключенных на строительство обогатительной фабрики, выждала момент и всю передачу разбросала по колонне, терпя при этом великое унижение и оскорбления от охраны.

В зоне были бараки, которые, кроме номеров, еще имели и названия. Был барак по имени Индия. Он был на отшибе, в самом дальнем углу, рядом с лагерной тюрьмой. В этом бараке в два этажа отбывали свои дни заключения совершенно голые люди. Кто свою одежду в карты проиграл, кто на щепоть махорки променял, отдал за пайку хлеба. Да мало ли других путей остаться голым и босым. Это еще и от желания вообще не выходить на работу, неповиновение лагерным властям. Словом, набралось жителей целый барак. На работу они, естественно, не ходили, не в чем было выходить даже по нужде в общий туалет. А лагерная администрация не могла напасть на одежду. Хорошая одежда уходила и за зону, и менялась на табак, чай, водку.

### **Окрасился месяц багрянцем...**

О великой русской певице я упомянул в первой части этой книги. О Лидии Андреевне Руслановой сказано много, в том числе давно приоткрыта тайна-завеса по поводу ее ареста. Многим известно, что она отбывала в одном из лагерей Тайшета неподалеку от своего мужа генерала Крюкова. Но волею судьбы Лидия Андреевна посетила и Томусу. Не по собственному желанию, к сожалению.

Первую информацию о ней я услышал совершенно неожиданно.

В пригороде Междуреченска, в поселке Чульжан, что расположен в живописнейшем месте, на берегу протоки Томи, в очень жаркий июльский день я искал одного человека, как по той пословице: "Найти то, не зная что".

Хожу по узкой улочке, по берегу, по переулкам, присматриваюсь к домам, усадьбам как бы на предмет покупки. По безлюдным улицам долго бродить - значит, вызвать у наблюдающих за тобой разве лишь подозрение. Я никого не вижу, но уверен: за мной давно и внимательно наблюдают из-за занавесок, из-за кустов малины, в щель забора. Я - выходец из деревни, и мне все это хорошо знакомо. В какую калитку постучать, кого спросить, если не знаешь ни имени, ни фамилии человека, которого ищешь. Постучать и спросить:

"Извините, где у вас тут живет отсидевший четверть века за злодеяния против человечества?" Не спросишь, могут и послать, а могут и собаку с цепи спустить.

И когда уже терпению моему подходил конец, навстречу вышел мужчина. На мое счастье, он оказался разговорчивым. Показалось, что и он был рад свежему человеку, да еще и с такой темой, ему интересной. "Хожу вот, смотрю... слышал, что вот здесь у вас когда-то было подсобное хозяйство... здесь выращивали овощи, коров доили, холили до глянцевого блеска выездных лошадей", - сказал я, добавив, между прочим, что я тот человек, который "собирает историю" здешних мест, и не без умысла на этот раз посетовал на печальную судьбу аборигенов-шорцев - к их числу относился мой собеседник. И пошло-поехало!

Я уже сидел на сухом бревне у ограды его дома и слушал судьбой мне подаренного человека.

Поведал мне собеседник о том, что служил на границе. После службы вернулся домой и устроился на сплав леса по Томи от Майзаса до Новокузнецка. Приглашали его в охрану заключенных, но это ему было не по душе. И направился он после сплавного сезона опять, как и до армии, в геологи и исходил всю эту округу, этот родной



ему край с геологическими инструментами. Видел десятки лагерей, тысячи узников на лесоповале, на сплаве. Случалось, что и говорил с "умными, интеллигентными людьми", а подарком судьбы для себя считает встречи с Лидией Руслановой. И не где-нибудь в столичном зале или на экране телевизора в пору, когда он здесь засветился, а на берегу Усы! "Да! Да! - совершенно спокойно, как о вполне будничном, заверил он меня. - "Женская зона была от нас в километре. Оттуда в наш магазин женщины ходили под охраной одного солдата. Однажды объявили:

"Вечером в наш клуб придет Русланова!".

Кто не поймет моего состояния?!

Искал бывшего "власовца" или "бандеровца", а тут...

На этом месте я остановил свой рассказ и снова поехал в Чульжан к Николаю Васильевичу Табакову, чтобы еще раз убедиться, не ослышался ли я, не ошибся ли он.

Женщины в лагере Кырлара занимались лесом. Наверное, в том лагере был очень добрый начальник, который разрешал заключенным женщинам посещать магазин (какой там магазин - лавка!), приобретать все, что там могло быть. А что там могло быть, если в ту лавку товары доставлялись карбузами из Новокузнецка за сто двадцать километров? Самое необходимое, хотя геологи утверждают, что у них всегда было хорошее снабжение. Они имеют в виду продукты. Тушенка, сгущенка, сахар, конфеты, пряники, табак, водка, что-то из тряпья.

Весть о том, что вечером в клуб придет Русланова, облетела всю округу. К клубу собрались все вольные жители поселка. Все ждали праздника - встречи со знаменитой певицей, а в этих краях легендой. Вряд ли кто из жителей поселка мог представить себе знаменитую певицу за колючей проволокой, рядом, в зоне. В самой смелой фантазии никто не мог бы предположить. А тут!

Лидия Андреевна пришла не одна. Ее сопровождали несколько женщин значительно моложе и один солдат. Она как-то ласково

осмотрела собравшихся, поздоровалась, поклонилась, представилась:

- Я Лидия Русланова. Не ожидали меня в этих краях? Да я и не мечтала здесь побывать, а вот... вышло... Ну а вы, девушки, что приуныли? Не ревнуйте, мы ваших ребят не уведем, мы попеть, поплясать пришли.

У нее было хорошее настроение, и оно сразу передалось всем присутствующим. Справилась великая певица, есть ли в поселке баян или гармошка. Баяна не оказалось, а гармошка нашлась. Какая же русская деревня без гармошки!

- Русланова! Русланова! - передавали один другому, и каждый старался продвинуться к ней поближе, образовали круг, в котором и певице было уже тесно. И тут зазвучала гармошка. Русланова топнула раз, топнула два и пошла по кругу, а за ней и сопровождавшие ее подруги. В клубе стало еще теснее, люди выходили в открытую дверь на улицу, вскоре на улицу вышли и гости, и Русланова вдруг запела:

Окрасился месяц багрянцем,

Где волны шумели у скал...

- Это был праздник! - сказал Николай Васильевич. - На всю жизнь!

К нам во двор вышла жена Николая Васильевича - Серафима Пахомовна, прислушалась к разговору, и тут я заметил, как пожилая уже женщина в буквальном смысле осветилась нахлынувшей на нее радостью воспоминаний, вступила в наш разговор:

- Я видела ее несколько раз, - быстро произнесла она, как это делают люди, торопящиеся, чтобы их непременно услышали. - Она и после несколько раз к нам приходила, концерты устраивала. Придут, бывало, через перевал, мокрые еще от усталости, разденутся, принарядятся и выступают. Платья нарядные они с собой приносили. Таких платьев и по сегодня не видела живьем-то.

- А солдат из их охраны билетами торговал, - вставил умолкнувший под напором жены Николай Васильевич. - После концерта - они в магазин. Со всего поселка им подарки несли - кто что. Геологи хорошо помогали ей.

- Голос-то у нее был! - вставила Серафима Пахомовна. - То хоть плачь, то в пляс иди. Да так и было. И пели, и плясали вместе с ней мы, и плакали. Какая же беда на нее обрушилась, про то никто не знал, про то нам с заключенными разговаривать не положено было. А к номерникам за три километра не подпускали. Идешь, бывало, а их ведут. И бросил бы им буханку хлеба, пачку папирос, да где там! Эти вертухаи с матом да с собакой, как будто от нас, от людей, какая опасность шла. О, жизнь была!

По многим свидетельствам, Русланову валить лес не посылали, народную артистку берегли, в любой пересылке ей рады были, в лагере или лагпункте она занималась близкой к своей профессии работой - в КВЧ (культурно-воспитательная часть). Вот и в Кырларе она почти свободно выходит под символической охраной за зону с группой своих товарищей по несчастью, встречается с жителями поселка геологов, устраивает концерты неоднократно!

Наши сопки и студеная во все времена года быстрая и стремительная Уса, и наше небо, тогда пронзительно чистое, запомнили голос любимицы русской земли:

Окрасился месяц багрянцем,

Где волны шумели у скал...

Молодой месяц висел над далекой сопкой. Песня проникала в самые глухие уголки распадка, неслась между молодыми елями и, миновав вышки с вертухаями, доходила в целостности и первозданности до окон барачков, вселяла надежду их узникам. Судьбой заброшенная в такую глушь певица понимала, что она может и обязана облегчить безысходную их участь вот таким слиянием своей души с этим кусочком хотя и дикой, но родной ей русской земли. Тогда она не могла знать, что наступит тот самый пятьдесят шестой год, когда на действительно историческом съезде будет оглашена правда и для

нее, как и для миллионов других узников сталинского ГУЛАГа, распахнутся ворота свободы. Но до того дня было еще долгих шесть лет.

- Было это в пятидесятом году, в конце лета. Зона была небольшая по сравнению со здешними гигантами. Но все, как и здесь - высокий забор с козырьком из колючей проволоки, вышки с охраной, но заключенных там было мало, человек, наверное, пятьсот,- закончила свой рассказ Серафима Пахомовна.

- Не больше, - подтвердил Николай Васильевич. - Пять бараков там всего-то и было, одноэтажных.

В пятьдесят первом году Николай Васильевич ушел служить на границу с Афганистаном. Больше ему не пришлось видеть знаменитую артистку.

- Как она выглядела? - спрашиваю я.

- Одета она была ярко, нарядно, а лицо, некрасивое, вроде как оспой повреждено... Зато голос! Тут она становилась такой красавицей, не расскажешь. А душа! Как она с людьми говорила. Голос у нее такой рассыпчатый какой-то и вроде как грубоватый... Да разве вспомнишь! Лет-то уж сколько пролетело.

- Рябая! - добавила серафима Пахомовна. - А держалась очень просто, словно мы ей ровня. Которые с ней приходили, красивее и моложе ее были. Мы вначале вроде как засомневались, а уж как она запела... она, Русланова!

Анатолий Маркин - один из первых узников лагеря в Ольжерасе. Ему пришлось жить там в палатке, в юрте, строил бараки, а когда туда прибыл Камышлаг - лагерь особого назначения, его переправили в зону, которую зэки прозвали "Пионерской". Там содержались "тихие", простые мужики-работяги, которые и умели что делать, так это хорошо всю жизнь работать. И в этом "Пионерском" он, как шофер в прошлом, был расконвоирован. День он ездил, возил продукты, грузы различные, ремонтировал машину, а вечером шел в зону, в свой

барак, на свои нары, как ходят молодые холостяки в общежитие. Вход и выход из зоны у него был свободным, по пропуску, естественно.

О Руслановой он рассказал мне, не будучи уверенным, что меня это заинтересует, о ней я у него не спрашивал и даже не планировал. Когда наша встреча уже вроде завершалась, оставалось встать, поблагодарить хозяина квартиры за беседу, за горькие для него воспоминания, он вдруг сказал:

- Больше всего из тех лет я запомнил концерт Руслановой!

И я снова присел на стул.

- Было это в пятидесятом году под осень, мы еще не надевали бушлаты. Работал я в тот день в гараже, на ремонте стоял. Гараж наш находился рядом с лагерем Камышлаг. Зона та еще строилась, а находилась вот где сейчас Дом культуры шахты имени Ленина и до магазина "Турист" - очень большая зона была. Вахта стояла как раз на месте, где сейчас Дом культуры. Наш гараж - рядом. И вот как-то вбегают к нам в гараж мужик и кричит:

- Русланова поет! Пошли, послушаем!

- Где? - у всех вопрос.

- Да там, в зоне.

В ту зону нам доступа не было. Но мы высыпали из гаража и к вахте, а там уже народ, вытянув головы, слушает. И вертухай на вышке - это я хорошо запомнил - положил руки на автомат и тоже слушает. Мы забрались в кузов машины, но и оттуда ничего не видно: забор-то высоченный. Там, за забором, эстрада - мы ее строили. Посмотреть хочется, но на вышку, на забор не полезешь. Слышу:

По морозу босиком.

К милому ходила...

Русланова! Она! Ее голос. Ее голос ни с каким другим не спутаешь. А тут народ подходит, на машину к нам лезут, и все одно слово: "Русланова! Русланова!" После каждой песни - аплодисменты, да такие, что, казалось, забор вот-вот повалится. Часа два она пела. Мы в свою зону в тот день к сроку опоздали. Вообще-то мы могли сказать, что задержались на работе, нам доверяли, а тут у нас причина опоздания как бы еще весомее, чем работа, была. Мы Русланову слушали.

- Что же было слышно о Руслановой? - спросил я.

- А ничего! Из той зоны ничего нельзя было узнать, у нас прямого общения с номерниками не было, не могло быть. Я так думаю, что она там случайно была. Ведь та зона была чисто мужская, лагерь особого назначения, а Русланова скорее всего этапом через ту зону проходила, а может, ради концерта привозили ее из другого какого места. Правда, позднее я слышал от многих людей, что ее видели на Ивановских базах.

Оказалось у меня и еще одно свидетельство о пребывании в Томусе Лидии Андреевны Руслановой.

Первый узник лагеря в Ольжерасе Август Кондратьевич Шарапов весь свой срок был на расконвойке. Он стал первым шофером будущего Междуреченска. Возил различные грузы из Сталинска (Новокузнецка) до Ольжераса. Не мог он проехать мимо гигантского лагеря, который находился на трассе в Мысках. По какой-то надобности ему необходимо было там остановиться. И как раз в тот день, когда в лагере проходил концерт Лидии Руслановой.

Это было в конце лета, как он утверждает, но вот в каком году, запомнил: "То ли в пятьдесят первом, то ли в пятидесятом, но не раньше и не позже".

Концерт проходил под открытым небом, в зоне, на огромной площадке перед вахтой. С певицей были двое мужчин. Один объявлял, а другой аккомпанировал на роскошном баяне. У Руслановой, видимо, было хорошее настроение, и несколько песен по

настойчивой просьбе благодарных слушателей ей пришлось исполнять по нескольку раз, но они чередовались с другими песнями.

Мест на лавках всем не хватало, большая часть заключенных стояла полуколосьем рядом с импровизированной сценой. На полу был постелен богатый ковер. Кто-то из расконвоированных шоферов из той зоны, знакомый Шарапову, говорил, что тот ковер он привез из квартиры самого начальника лагеря, генерала.

Супруги Табаковы впервые видели Лидию Андреевну в Кырларе, как они сказали, в конце лета. Маркин - под осень. Выходит, что Русланову везли через все лагеря по дороге от Абагура до Кырлара, если ее еще и на Ивановских базах видели. Здесь, скорее всего, она ожидала со своей охраной оказию, чтобы по Усе добраться до места своего назначения - в зону под Кырларом, где ее и видели много раз супруги Табаковы.

- Русланова в Абагуре была! Это я знаю точно. Слышал и о том эпизоде во время ночного пересчета.

Николай Степанович Оселедкин завершил свою службу в МВД в звании майора. А в ту морозную ночь пятидесятого года он был капитаном, располагал большой информацией.

Поиски следов Лидии Андреевны Руслановой в наших краях продолжаются, и я с большой уверенностью хочу сообщить читателям, что Русланова здесь была...

### **Узники: Михаил Шкребо.**

Трагична судьба простого советского человека Михаила Шкребо. Успел он поучаствовать в двух войнах: в войне Сталина против своих соседей - Финляндии, а следом и в другой - Великой Отечественной. Познал он и ужасы ада в фашистском плену. Лагерь, в котором он был, освободила Советская Армия. Прошел множество унижительных проверок (через СМЕРШ) и был освобожден, допущен к строительству социализма. Поселился в Подмосковье, обзавелся семьей. Появился

сын. Работал Михаил Шкребо, как говорится, не покладая рук, чтобы прокормить семью, одеться, обуться. Верил, что трудности эти со временем отойдут: страна набирала обороты, отменили карточки. Но радоваться перспективам ему долго не дали. Однажды ночью за ним пришли...

Органы госбезопасности еще долго после войны выискивали врагов. Почти два года провел Шкребо в следственных изоляторах и тюрьмах Москвы, Белоруссии, Украины. А вменяли ему самое страшное преступление перед собственным народом и страной - измену Родине в годы войны. Он прошел множество очных ставок - и вот, наконец, суд, который признает его виновным (а когда такого не было!), - в годы войны служил во власовской армии, участвовал в карательных операциях против мирного населения. И срок - двадцать пять, пять и пять. Ушел от "вышки" только потому, что не признал ни одного против себя обвинения, а также помогло и то, что свидетели особо не настаивали на том, что на скамье подсудимых тот самый изверг, который жег села, грабил, убивал...

Этап к нам сюда формировался в Орше. Надо отметить, что тюрьма Орши в конце сороковых - начале пятидесятых годов была хорошим и стабильным поставщиком "контингента" в наши края. Мы уже знаем: и в лагерь Ольжераса прибыло несколько этапов из той тюрьмы. Все в той системе было отлажено и отработано, и эшелоны, прибывшие в Сибирь с заключенными, тут же возвращались за новым "контингентом".

На всем пути из Орши до Сталинска накормили лишь один раз в Омске. Там же отцепили несколько вагонов. В Омске тоже надо было строить и тоже требовалась бесплатная на многие годы рабочая сила.

Не хватало в стране, видимо, и вагонов для перевозки заключенных, заключенные всю дорогу стояли, сидели и спали прямо на полу. Ни нар, ни "буржуйки".

Короткая передышка в распредзоне Абагурской площадки. По Кондоме и Томи уже сошел лед. На полную нагрузку вверх по Томи пошли баржи с пополнением.



17 мая он прибыл в Майзас. "Такие дни запоминаются на всю жизнь, - говорит Михаил Сергеевич. - А тут еще снег выпал, да такой, что я подумал: зима опять началась! Везли нас на двух баржах, километра два в час - против течения! Сидели на дне баржи, так же и спали, сидя. Больше трех суток шли".

Майзасский лагерь располагался прямо на берегу Томи, где сейчас переправа паромная. Никаких следов от того лагеря сейчас не осталось.

Лишь однажды, когда Михаил Сергеевич выпил, сорвался: "Если б кто знал, как нас встретили!" Заплакал навзрыд, как плачут женщины у гроба близкого. И больше ни в одну из наших встреч он не коснулся того дня, того момента, когда он переступил через вахту и оказался на территории лагеря, который в этих краях славился самым жестоким "контингентом". Именно туда отправляли из соседних зон самых отъявленных блатарей, воров, убийц.

...Открыли ворота. С внешней стороны "пятьдесят восьмая" - "враги народа", внутри зоны толпа тех, кто желал покуражиться над "изменниками Родины". Блатари, шестерки, уркаганы - мнимые защитники державы, большинство из которых годы войны провели в лагерях и тюрьмах.

Через пять дней Михаила Сергеевича перевели в новую зону - на Средний Майзас, за семь километров от его первого лагеря. И в лес. На трелевку. Если эстакада была близко к берегу - таскали лес на себе. Если далеко - на лошадях. Здесь же ему вручили пилу-лучок, и он начал валить лес, честно отрабатывать свою лагерную пайку. С того времени прошло очень много лет, но он до сих пор помнит эковские нормы: мелкий лес, на рудстройку, 1.20 куба, средний - 3 куба, крупный - 4 кубометра в день. Одну лесину-крупняк пилил по три дня, но из нее выходило три или четыре нормы.

Однажды он попал на вершину сопки, с которой далеко было видно, и ужаснулся: леса хватит и на весь его срок, и останется для других поколений. Если он отбудет свой срок, если однажды не упадет замертво, обессилев, где-нибудь на лесной деляне, не утонет в четырехметровом снегу, если...

Лагпункт на Среднем Майзасе был небольшой. На лесосеку выводили по двести заключенных. Такой же лагерь был и на Верхнем Майзасе.

Вся жизнь Михаила Шкребо в то первое лето пятьдесят первого в этих краях ограничилась, упростилась, втиснулась в жесткие нормы содержания советского заключенного. Ни писем ему, ни писем родным, ни свиданий, ни посылок, ни свободного времени, ни выходного, ни праздника. От первого утром удара на вахте о рельс на подъем до отбоя о тот же рельс вечером у него была одна думка - как бы сегодня сделать норму, чтобы вечером в лагерьной столовой налили ему полный черпак баланды и выдали пайку черного с опилками хлеба.

Все остальные заботы о нем взяло на себя государство в лице лагерного начальства, управления лагерей в Сталинске, далее - вплоть до ГУЛАГа. Он уже себе не принадлежал. Еще со дней следствия понял, что в родном ему бесправном государстве правды не добиться. Все, что он завоевал за две войны, - это право на каторжный труд. И он смирился со своей участью, со своей судьбой.

Однако и зэку выпадает счастливый миг удачи.

После непродолжительной командировки в три месяца на Кабырзу, на юг Кузбасса, где он работал на строительстве железной дороги до рудника, Михаил Сергеевич попадает в новую зону, в Нагазак. Это чуть выше по Томи от Майзаса, на том же левобережье. Новая зона был рассчитана только на "политиков". Здесь всем пришили номера. После смерти Сталина и ареста его верного соратника условия проживания заключенных немного улучшились.

Майзасские лагеря после известной амнистии летом пятьдесят третьего почти полностью опустели - там содержались в основном уголовники, им-то Берия и дал свободу.

- В день похорон Сталина мы работали, как всегда, в лесу. Охрана скомандовала всем собраться в центре лесосеки. Начальник конвоя посмотрел на часы и выкрикнул: "Сымай шапки!" Начальник начал речь: "Сегодня наша страна и весь пролетариат мира прощается..."

"Царство тебе небесное!" - подумал только. С того дня многие с надеждой стали смотреть за забор, а вдруг... А тут амнистия уголовникам. У людей еще сильнее стала пробуждаться вера в справедливость. Но рано мы поверили. Нас амнистия не коснулась. Если б кто снял кино о том, как выходили из ворот зоны уголовники. Иному сидеть бы там вечно, на его счету десятки убийств, насилий, грабежей. Нас же собрали в одну зону, где ни одного уголовника не было. Мы там хоть вздохнули: никто нашу пайку отбирать не будет.

В зоне "политиков" находилось около тысячи человек. Восемьсот человек из них работали в лесу, на промплощадке, разделявали лес на шпалы, плахи, тес, тардощечку. Шкребо стал работать по своей гражданской специальности - пекарем. Ожил человек!

В зону зачастили комиссии из центра, просматривали дела, разбирались с жалобами. Стали платить деньги - по сто рублей в месяц на руки! Остальные - на лицевой счет. На те деньги можно было заказать масло, сахар, даже костюм... После одной из комиссий Михаилу Сергеевичу сократили половину срока. Появилась надежда.

У него в пекарне работал бывший полковник Советской Армии, ждал освобождения. Комиссия признала его невиновным. Вскоре в лагерь пришла бумага, и его освободили. На прощание он обещал похлопотать за Шкребо.

Шкребо рассказал о трагичном случае, какой произошел в их зоне 24 января 1954 года. Заключенным к тому дню стали предоставлять выходные, праздничные - вот такие перемены после смерти "вождя всех народов". Но с послаблением режима снизилась и производительность труда. И лагерное начальство стало применять рычаги экономического стимулирования.

Промбаза была в Майзасе. Утром начальство объявило: кто будет работать в выходной, тому выплатят по десятке наличными. Желающие нашлись. В крытый кузов машины вошли семьдесят два человека, через перегородку стояла охрана. Тронулись в путь. Дорога шла берегом Томи. В месте, называвшемся Скала, машина пошла юзом и перевернулась. Охрана успела выскочить, отделавшись

легким испугом. Все заключенные, находившиеся в крытом кузове, погибли.

Среди них было два литовца. Им оставалось, как потом оказалось, всего-то три дня до освобождения. На воле были профессиональными музыкантами. Хотели на дорогу заработать. Шкребо утверждает, что прибалты, крымские татары, молдаване, чуваша работали, как на ударной трудовой вахте. Осуждены были все по политическим статьям, какие были в каждой республике: в Белоруссии - 64-я, на Украине - 54-я, в России - 58-я и так далее. Слышал Михаил Сергеевич и о цыганах, но они содержались в лагере особого назначения в Ольжерасе и Междуречье.

День похорон погибших у Скалы в лагере объявили нерабочим днем. На братской могиле сделали оградку, поставили памятник, а вот фамилии погибших на нем не написали. Нашли и виновных в той трагедии - инженера Фоминского и механика Шелоносова, дали каждому по два года. Шелоносов отбывал срок в Тебенском лагере - в тридцати километрах вверх по Томи, но в зоне он так и не побывал, не на расконвойке был, а в самоохране. Ему выдали оружие, и он выводил заключенных на работы, таких же зэков, как и сам, но в "органах" он оставался своим.

Старый полковник-молдаванин, пообещавший на прощание похлопотать за Михаила Сергеевича, сдержал свое слово. 25 октября 1955 года стал счастливым днем для многострадального человека. Он, как в той зэковской песне, "оказался ни при чем". Вот так у нас было! Более шести лет заключения и - ни при чем.

Верховный суд СССР реабилитировал его в связи с отсутствием состава преступления...

О Шкребо я услышал на автобусной остановке, как позднее оказалось, недалеко от его дома, в поселке Чульжан, пригороде Междуреченска. Поселок этот в последние годы стал заметно менять свой облик. То там, то здесь, чаще всего на старых усадьбах, стали подниматься крыши-мансарды дачных домиков.

На остановке ходил человек в ожидании автобуса и вслух рассуждал:

"Власовец! Кулак! Двадцать пять лет отсидел, вражина, полицай, ирод, а участок занял целый гектар".

Это был первый случай, когда я услышал информацию о человеке, о судьбе которого рассказано выше. Но до моей встречи в нем был еще ровно год.

- Его расстрелять надо было, а он, вишь, как разжился! Фермер нашелся!

...Когда за спиной Михаила Сергеевича закрылась вахта лагеря, он впервые задумался: как жить дальше? Он и в самой отчаянной, дерзкой фантазии не мог предположить за день до освобождения, что так вот враз получит свободу. Ведь совсем недавно ему скостили половину срока. Чего еще можно было ждать от властей, какой милости? Он стоял за забором зоны и ждал, вот его окликнут: "Шкребо, да ты шуток не понимаешь, что ли? Мы ж пошутили!" или "Шкребо, тут недоразумение вышло; давай-ка, гражданин Шкребо, назад". Все могло случиться. И он все же понимал - он на воле, и это не шутка, с ним рассчитались: деньги с личного счета выдали сполна "девять тысяч рублей, большие деньги. Дома у него не было, не было и семьи. В те годы не поощрялись подвиги жен декабристов, которые не отреклись от своих мужей. И все эти годы он не имел переписки, еще в войну растерял своих родственников - брата, сестер. Где они, где их искать?

Михаил Сергеевич разумно вложил деньги в дело - купил дом, корову и решил начать жизнь заново. Но о его прошлых "грехах" ему напоминали еще много лет. Большие и маленькие начальники и так, и этак крутили в руках бумагу из Верховного суда СССР, множество раз прочитывали четкий и лаконичный текст - бумага серьезная, а вот сомнения их не покидали. Частным расследованием "преступлений" "кулака" занимался бывший профессиональный следователь - сосед по усадьбе. Он мечтал о том, что его версия подтвердится и он оторвет кусок ухоженной и хорошо удобренной земли. Вокруг усадьбы Шкребо выросли дачи, обложили ее со всех сторон. И каждый ждет

случая, чтобы ринуться в атаку с другим таким же соседом захватывать землю. Михаилу Сергеевичу угрожали, избивали. Дело доходило до суда, но и судья не нашел в себе мужество вынести приговор по закону его обидчикам. "Бумага-то бумага, а вдруг... Все ж на всю катушку давали...".

Однажды власти города попросили его отдать часть земли под усадьбу единственному в городе Герою Советского Союза. Не коренному, приезжему.

Герою Михаил Сергеевич уступил: героев и он уважал. Дачу строил город. Поставили двухэтажную безвкусицу, герою она, очевидно, не понравилась. Он продал ее, естественно, как собственность, а не подарок города герою.

...На работу в город он много лет ходил пешком. Двенадцать километров в один конец и столько, естественно, обратно. Каждый день! Это уже потом, когда лег асфальт, он стал ездить на рейсовом автобусе.

Но не все, видимо, выдала ему его горькая судьбинушка. Работая на циркулярке, травмировал руки. Хирурги отняли обе кисти... Кто-то злорадствовал: "Бог наказал!" И таких было много. Сиблаговский беспредел для него с выходом из зоны не закончился и по сей день.

Его как участника двух войн, как невинно пострадавшего в годы сталинских репрессий горсобес обязан был прикрепить к магазину, в котором в былые времена обслуживали ветеранов. Ан нет! И там были сомневающиеся в достоверности документов Шкребо. Ему давали паек и лишали, снова давали и опять лишали. И так несколько раз. Чиновники своими безнравственными поступками прикрывали элементарную дикость, жестокость. Мы давно разучились сочувствовать человеческому горю.

До последних дней он не знал отдыха. Косил сено, носил воду из протоки на коромысле, управлялся по хозяйству, всегда у него в стае было не менее двух коров, годовалый теленок и нынешний, всегда держал много птицы, овец, свиней. Всю жизнь работал. И не

знал этот человек одного - что такое выходной, праздник. Кормил себя, помогал детям жены, а потом и внучатам.

Радовался их праздникам, праздникам своей страны, но сам так и не познал, что это такое - праздник.

### **Узники: Лев Гумилев.**

Рыжий львеныш, С глазами зелеными, Странное наследье тебе нести!

Эти стихи Марина Цветаева написала 24 июня 1916 года в цикле стихотворений, посвященных Анне Ахматовой. Левушке в тот год минуло четыре годика. Великая русская поэтесса уже посвятила ему стихи. И наследие, какое он всю жизнь нес, поэтесса предсказала верно.

...В морозный декабрьский вечер пятьдесят первого года к вахте лагеря особого назначения прибыло несколько машин с новым этапом заключенных. К начальнику лагеря капитану Громову вошел начальник конвоя в длинном тулупе, доложил:

- Старший сержант Мамедов! Вот документы, товарищ капитан, - протянул несколько папок с делами вновь прибывших.

- Кого ты мне сегодня привез? - спросил Громов, раскладывая папки на столе.- Гумилев Лев Николаевич, - прочитал на обложке папки. Прочитал вслух, как бы прислушиваясь к произнесенным словам. - Где-то я слышал эту фамилию.

Громов внимательно вчитывался в дело. Из дома звонила жена, справлялась, не в кабинете ли он решил ночевать. Начальник ответил: прибыл этап и с ним очень интересный субъект, дома расскажет. Он решил тут же познакомиться с вновь прибывшим. Гумилев был опытным лагерником. Он догадывался, куда его ведут. На всех пересылках, во всех лагерях он вызывал к себе большое любопытство начальствующих. Скрипел под ногами снег. Хорошо, что

перед этапом добыл валенки, пусть и не на один раз подшитые, но все ж не сапоги или ботинки. "Томуса... что это за место?" Позади были лагеря Норильска и ссылка Туруханска.

- Фамилия, имя, отчество?- спросил капитан Громов.

- Гумилев Лев Николаевич. Родился в 1912 году в Петербурге, осужден по статье 58 - 10,8 на десять лет лагерей особого назначения, - ответил Гумилев.

- Кто ваши родители, Гумилев?

Ответил уже привычно:

- Они к моему делу никакого отношения не имеют, гражданин начальник. Отец в двадцать первом расстрелян по необоснованному обвинению. Он был поэт. Литературной работой занимается и мать. Анна Ахматова...

- Выходит, вашего отца беспричинно расстреляли, а вам ни за что дали второй срок, ни за что содержат в изоляции от общества? Вы, оказывается, ни в чем не виновны?

- Так, гражданин начальник, не виновен, - ответил Гумилев.

- Выходит, вам и первый срок давали по какой-то ошибке?

- Да, гражданин начальник, я так именно и считаю. Если и была тогда за мной какая-то вина, так она скорее всего была в моей фамилии.

- Вот как! Впервые слышу, чтобы у нас в стране давали срок за фамилию.

- Со мной именно так и случилось, - ответил Гумилев.

- Значит, первый срок вы отбывали за отца, а второй срок дали уже за мать? - внимательно и с любопытством рассматривал Громов Гумилева.



- Можно сказать и так.

- Хочу все же у вас спросить, Гумилев, откуда у вас такая ненависть к нашему строю, к Родине, это от родителей перешло?

- Если бы я ненавидел Родину, то не пошел бы добровольцем защищать ее.

Кто был тот узник лагеря особого назначения "Камышлаг", который прибыл этапом в Томусу? Почему за произношение его фамилии в сталинские времена можно было получить десять лет лагерей? Великие русские поэты Николай Гумилев и Анна Ахматова встретились в Царском Селе в начале века, в пору гимназических лет - ей было 14, ему 17, то есть она находилась в возрасте Джульетты, а он - Ромео. Однако Аня Горенко, в отличие от Джульетты, достаточно холодно относилась к ухаживаниям некрасивого, долговязого подростка, не соглашалась на брак едва ли не целых семь лет.

Так или иначе, но 25 апреля 1910 года в Никольской слободе под Киевом в Никольской церкви они обвенчались. Их единственный сын родился 1 октября 1912 года.

В этом же году у Анны Ахматовой вышла первая книга стихов "Вечер", которая принесла ей известность. Родители совместно прожили недолго. Разошлись, но продолжали поддерживать хорошие отношения и после того, как Николай Гумилев женился во второй раз, а Анна Ахматова вторично вышла замуж. Левушка же большую часть своего детства провел у родителей Николая Гумилева.

Николая Гумилева расстреляли в 21-м году, в период его самой большой популярности и славы.

Лев после окончания школы поступил в Ленинградский университет. Но тут же случился его первый арест - в декабре 1933 года. Он пошел в гости к сотруднику института востоковедения Эберману. К тому времени Лев Гумилев начал переводить арабские стихи, этим же занимался и тот. По специальности он был арабист. Не успели они прочитать друг другу по стихотворению, как в комнату вошли чекисты, схватили хозяев, а заодно и гостя. Гумилева через

девять дней разбирательств выпустили. Эберман же был осужден на большой срок и погиб в лагерях. Но Леву Гумилева тогда взяли на заметку.

Дело же на него в НКВД завели в 34-м году после ареста Осипа Мандельштама. Арестовали этого поэта за злую сатиру на Сталина: "Мы живем, под собою не чуя страны". Естественно, такие стихи были созданы не для печати. Но Мандельштам их читал знакомым. Дошли они и до органов, и до самого Сталина.

На допросах поэт рассказал, что читал эти стихи Анне Ахматовой с сыном.

В 35-м Леву арестовывают вместе с мужем Анны Ахматовой - Николаем Пуниным. Анна Ахматова помчала в Москву. Через несколько дней Николай Пунин и Лев Гумилев были дома. Но "дело" не закрыли. 10 марта 1938 года последовал новый арест. Гумилева задержали в числе подозрительных лиц. В то время начало раскручиваться колесо подавления всякого инакомыслия. На этот раз все было по-иному. Начали с пыток: старались насильно выбить признания. Но так как он ни в чем не считал себя виновным, то его избиением энкавэдэшники увлекались подряд восемь ночей. За восемнадцать месяцев он сменил два каземата НКВД - на Шпалерной и в "Крестах". Отсюда его отправили на Беломорканал с приговором десять лет. Но прокурор этим приговором остался недоволен, и через несколько дней Гумилева снова привезли в Ленинград на новое следствие. Возвращали, по сути, на расстрел, вменив ему все ту же 58-ю статью, но уже с пунктом 17 - террористическая деятельность.

Пока его возили по этапам, был арестован Ежов. В ходе следствия многое изменилось, бить перестали. Его могли бы и освободить, если б дело отправили в ЦИК, а не в Особое совещание. А в этой организации отказов не случалось. Вскоре ему в камеру принесли бумажку, из которой он узнал, что приговорен к пяти годам по все той же 58-й статье, но уже с пунктами 10-11 - лишение свободы с отбыванием срока наказания в лагерях и к пяти годам ссылки.

Пункты 10 и 11 в лагерях называли "ширпотребом", поскольку их давали в обязательном порядке почти всем (антисоветская

деятельность и организация антисоветской деятельности или создание группы). Предполагалось, что преступная организация должна состоять как минимум из двух человек. Но в ту пору пункт 11 давали и за организацию, насчитывающую всего одного участника. Под пункт 10 - антисоветская организация - подсовывался любой анекдот, любая острота или даже просто подозрение в том, что человек может рассказать анекдот.

Осужденного Гумилева прямым ходом отправили в лагерь под Норильском. По выражению Гумилева, тот первый срок ему пришлось отбывать "от звонка до звонка". Но после срока ему напомнили о пяти годах ссылки, выехать из Норильска было запрещено. К тому же шла война. На фронт отправляли тех, кто был осужден по уголовным статьям, политических не брали. Работать устроился в геологическую экспедицию. Через полтора года просьбу его удовлетворили:

попал он в штрафную роту, участвовал во взятии Берлина и вернулся уже в Ленинград как победитель, как искупивший в боях свою "вину". О ссылке ему никто не напомнил. В университете без всяких проволочек восстановили. Он экстерном сдал десять экзаменов за 4-й и 5-й курсы и получил диплом.

Жизнь начиналась заново. Но в 46-м вышло постановление ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград". 20 сентября в Смольном выступил Жданов, после чего началось очередное гонение на Ахматову. Первой же жертвой стал Лев Гумилев, его исключили из аспирантуры. К тому времени он дважды побывал в экспедициях в Средней Азии и у него уже была готова диссертация. Но вместо ее защиты ему вручили ужасную характеристику - по тем временам "волчий" билет - и выпроводили на все четыре стороны. С такой характеристикой нечего было и думать о защите. И тогда Гумилев пошел работать в психиатрическую больницу библиотекарем и уже там добился положительной характеристики. И вот после множества проволочек была назначена защита - 28 декабря 1948 года. Против Гумилева выступал "заслуженный деятель киргизской науки" Берштам. "Он старался доказать, что я не марксист и даже невежественный человек в науке, к тому же я не знаю восточных языков. Отвечая ему, я заговорил по-персидски. Он мне отвечать не смог. Я перешел на тюркский. Он по-прежнему молчал. Тогда я спросил уже по-русски:

"Так кто из нас не знает восточных языков?" Ученые проголосовали: из 16 голосов 15 - "за" и только 1 - "против". Мне было ясно, кто голосовал против. Но началась очередная волокита. Я не успел получить кандидатского диплома. Меня снова арестовали и посадили в тюрьму. На допросах твердили: "Ты виноват. В какой вине ты бы хотел признаться?" Тут меня били мало, но памятно".

Один раз следователь схватил его за волосы и, с силой ударяя головой о стену, требовал признаний в шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии. Часто на допросах возвращались к визиту заморского дипломата Исая Берлина к его матушке.

Английский дипломат действительно посетил Ахматову и имел с ней продолжительную беседу, во время которой домой пришел Лев Гумилев. Он предложил гостю чашку картошки - все, что у них в доме было. Во дворе дома вдруг появился сын Уинстона Черчилля - Рандольф Черчилль - и начал вызывать своего друга-дипломата, он не знал, в какой тот квартире. Все происходило на глазах людей из спецслужб. Этот невероятный по тем временам инцидент породил самые нелепые слухи: приехала иностранная делегация, которая должна убедить Ахматову уехать из России, что Уинстон Черчилль, поклонник Ахматовой, собирался прислать специальный самолет, чтобы забрать ее в Англию, и т.д. и т.п.

В следственной камере Лефортовской тюрьмы о том визите хорошо знали и требовали от Гумилева подробностей разговора английского дипломата с его матерью. "О чем они говорили? - начинал следователь. - Что ваша мать жгла в пепельницах?".

Обвинения были тяжелые, но Лев Николаевич был уже опытным арестантом и знал, как себя вести при допросах. От него так ничего и не добились. Вскоре он получил еще "десятку" с отбыванием в лагерях особого назначения.

Начались трудные годы по освобождению Льва Николаевича Гумилева из гулаговских застенков.

Анна Ахматова написала письмо Климу Ворошилову. Ее письмо было передано в руки адресата в тот же день его адъютантом. Ответа

на письмо не было ни от Ворошилова лично, ни от Верховного Совета СССР, председателем которого он был в то время. После почти полугодового томительного ожидания пришло извещение из Прокуратуры СССР на имя Ахматовой А.А. о том, что оснований для пересмотра дела Гумилева Л.Н. нет.

Это был сокрушительный удар. Но Анна Ахматова была не только "поэтом от Бога", но и очень умным человеком. Она сразу поняла: при все еще действующем постановлении ЦК об Анне Ахматовой и Зощенко (а действовало оно до 88-го года!) Ворошилов не возьмет на себя личной ответственности за решение судьбы опального сына, к тому же носящего фамилию своего отца - поэта Николая Гумилева, расстрелянного ЧК в 1921 году. Значит, Ворошилов "советовался" с президиумом партии или с самим Хрущевым и новое правительство не собирается давать Ахматовой никакой поблажки. Поэтому всякое обращение от ее имени будет для Льва не только бесполезным, но и губительным. Значит, надо действовать круглым путем.

В своем письме Лев Николаевич упрекает мать: "Единственный способ помочь мне - это не писать прошений, которые будут механически передаваться в прокуратуру и механически отвергаться, а добиваться личного свидания у Ворошилова или Хрущева и объяснить им, что я толковый востоковед со знанием и возможностями, далеко превышающими средний уровень, и что гораздо целесообразнее использовать меня как ученого, чем как пугало".

Льва Гумилева окружали люди, среди которых были стихотворцы, художники, артисты, научные работники, но, к сожалению, неискушенные в политике и дипломатии. Им казалось, что Ахматова купается в благополучии, что опала с нее снята, и они удивлялись, как при таком, по их мнению, высоком положении она не может пальцем пошевелить, чтобы выхлопотать освобождение своему совершенно невинному сыну. Все это было иллюзией, стимулирующей во Льве Гумилеве развитие не самых лучших черт - зависти, обидчивости и - увы! - неблагодарности.

На несправедливые обвинения матери за ее "бездействие" Анна Андреевна написала сыну коротко: "Я очень печальна, и у меня смутно на сердце. Пожалей хоть ты меня".

Не один раз приходили в голову мысли о том, то его посадили второй раз с целью полностью уничтожить фамилию, которую он носит. То, что произошло с Мандельштамом. Автора политической сатиры на Сталина уничтожили в лагере под Владивостоком. Те, кто еще слышал его фамилию, находились в лагерях. За годы отсидки, если и дотянут до окончания срока, забудут навсегда. И распространителей стихов Мандельштама всех вроде пересадили. Так вот и выкорчевывали чуждую и вредную нашему обществу культуру. Это как раз и было "рассеиванием в лагерную пыль".

С Ахматовой было проще. Ее не печатали. После ареста сына и бесплодных хлопот она оказалась в больнице, где перенесла тяжелейший инфаркт.

Но Анна Ахматова была удивительно стойкой женщиной. Как только она оправилась от сердечного недуга, приступила к работе. Во имя зарабатывания денег взялась за переводы, а это как раз и убивало творческую энергию поэта. Это как раз и надо было властям. Именно власть дала разрешение на те переводы. На вопрос близких ей людей, пишет ли она новые стихи, Анна Андреевна как-то ответила: "Конечно, нет! Переводы и те дают с трудом.

Лежишь и прикидываешь варианты. Какие стихи, что вы?" Возможно, именно в эти годы родились у нее такие мысли:

И думы нет, и дома нет,

И даже дыма нет.

... Дверь в барак распахнулась, и тут же влетевший с улицы холодный воздух превратился в пар, за которым не сразу можно было узнать надзирателя.

- Все в порядке? - спросил он, подходя к Гумилеву.

- Да вот как получилось, - показал Гумилев свой бушлат. - Все дырки вроде залатал.

- Сойдет! Б-739, тобой сильно интересуется начальник оперативной части Собакин. Немедленно дуй к нему. - Забирая нитки с иголкой: - Найдешь его на вахте. Быстро!

Быстро не быстро, а идти к "куму" - лагерному оперу - Гумилев не очень хотел, но его еще никто не обходил.

- Гумилев! - представился привычно Лев Николаевич.

- Это вы на воле Гумилевым были. Забудьте! Вам дали срок, определили режим содержания, прибыли вы в лагерь особого назначения. А фамилию свою забудьте. Здесь она вам не понадобится. С Гумилевым покончено! Чем думаете заниматься? Писать стихи и читать их заключенным?

- Нет, гражданин начальник. Стихи я не пишу, - ответил Гумилев. - А заниматься я хотел бы наукой, если вы позволите.

- А что вас интересует?

- Народности древней Средней Азии, Древнего Китая, Монголии. Мне нужна различная справочная литература. Родные, если разрешите, мне бы ее прислали.

- Напишите, что вам необходимо, я подумаю.

Этот разговор Гумилеву все же дал надежду. Он еще не знал, откуда она к нему пришла, но почему-то был уверен, что ему разрешат работать.

И не ошибся. Буквально через два дня начальник оперчасти зашел в БУР и здесь столкнулся с Гумилевым, который подбрасывал в печь уголь. Начальник подошел к нему, как к старому знакомому, только руки не подал, не поздоровался. Не положено было здороваться начальнику с заключенными.

- Я думал над вашей просьбой, Б-739. Наукой заниматься можно, но только в свободное время. Пишите письма.

- Можно два письма?

- Письмо только одно! И принесите мне. Без моего разрешения оно дальше зоны никуда не пойдет. В письме попросите прислать вам книги в продуктовой посылке. Все!

Надежда словно бы еще на шагок к нему приблизилась. Надо добыть бумагу, конверт, ручку с чернилами. У него ничего нет. Еще в Тайшете перед отправкой у него все отняли. "Дорогой тебе все равно не понадобится, а там добудешь", - сказал конвоир.

Легко сказать: добудешь! У кого? Кто тебе здесь все приготовил?

Но и здесь фортуна улыбнулась ему. Его тезка - Лева-одессит - почтальон, который оказался жителем того же барака, где поселили Гумилева, как только они познакомились, принес ему бумагу, ручку с чернилами.

- Я их часто спрашиваю, Лев Николаевич, что бы вы все здесь делали без меня? У Левы всегда все должно быть, иначе Лева просто скучно будет жить.

Лева все делал с умыслом, с дальним прицелом. Его ручкой на его бумаге зэк писал домой письмо и просил прислать ему продуктовую посылку. Письмо и извещение на посылку опять же ему приносил Лева. Его тут же благодарили, он был причастен к радости зэка, соответственно ему первому из той посылки перепадали бутерброд и горсть махорки. Лева не тужил, ни в чем не нуждался.

И вроде бескорыстные на первый взгляд его услуги оборачивались для него неплохим приваром. К Лева шли за советом, одолжить махорки, бумаги, поделиться ручкой, конвертом, он помогал нужным людям налаживать "левую" почту, минуя лагерную цензуру и спецчасть. В долгу у Левы была почти вся зона. Разве кроме тех, кто не писал и ничего не ждал с воли, да еще иностранных граждан, которым запрещено было писать вообще.



- Я же о гражданах заботу имею! - говорил он о себе. - Мы же интеллигентные люди и должны друг друга выручать.

Лев Николаевич написал два письма. Своей матери коротко сообщил о себе, успокоил, что у него все нормально и что здесь у него есть возможность заниматься наукой. Написал, какие книги ему необходимы. Второе письмо он написал своему учителю профессору Кюннеру, у него попросил все, что представляется интересным о гуннах.

- Лев Николаевич, так вам необходимо два конверта? - спросил Лева-одессит.

- Я вложу оба письма в один конверт, а дома мама передаст письмо по адресу.

- Так я вас и спрашиваю, вам один или два конверта?

- Один, Лева.

- Вот, пожалуйста, для интеллигентного человека у Левы всегда все есть. - Он был доволен новым знакомством. Хотя ему было все равно, кому он оказывал маленькую услугу. Он думал о своем будущем прежде всего.

Наступал вечер. Время до отбоя еще было, и Гумилев заспешил к начальнику оперчасти.

День прошел для него удачно. Весь этот день на ногах был, крутился, отработал свою первую смену. Невелик труд топить восемь печей. Тепло стало в БУРе. Вот и письмо написал. Если начальство не найдет в его послании ничего такого, что может вызвать у них какие-то сомнения, то можно начинать отсчет дням до предполагаемого ответа. На дорогу туда и обратно он отвел месяц.

И ошибся всего на два дня. Раньше им намеченного срока пришли ему два письма и посылка. Радостную для него весть сообщил, конечно, Лева-одессит:

- Спешу обрадовать вас, Лев Николаевич! Вот вам два письма, но это не все, у "кума" лежит ваша посылка. Идите к нему, если хотите ее сегодня получить.

Мигом долетел он до кабинета начальника оперчасти. Да опоздал, посылка уже у самого начальника лагеря, и опер там же. Но не один оказался он у дверей кабинета. Занял очередь. Ему предстояло отстаивать свою посылку, возможно, и не отдадут все в целости и сохранности, что-то посчитают невозможным для его пользования, вредным для режима.

В кабинете было много народа, разговаривали громко. Гумилев различал голос начальника:

- Я вам сказал: не могу я согласиться с вами!

- Мы погубим народ. Нельзя работать в мороз под сорок градусов на улице.

- А кто за меня будет план выполнять? С меня на мороз никто не спишет, - это опять начальник.

- Тогда хоть на каменоломне работы в эти дни отмените. У нас за сотню человек сильно простуженных, а вы больше десяти освобождений в день не разрешаете выдавать.

- Здесь не санаторий, профессор! На каменоломне завтра поставят будку с железной печью. А освобождений прибавьте еще человек на пять. Не больше! Вы хотите лагерь превратить в лазарет. Не выйдет! Я лично проверять буду.

- Гражданин начальник...

- Вы забываетесь, доктор! Идите и выполняйте мое распоряжение, а не то весь ваш медперсонал на каменоломню отправлю. У меня на это прав хватит. А штат ваш сократите наполовину! Нашли теплое место! Ну и что из того, что все у вас врачи? Прежде всего они для меня заключенные. У меня на объекты скоро посылать некого будет.

Одна половина заключенных освобождена по болезни, другая их лечит. Не пройдет!

Пауза. Ну никак не вовремя сегодня идти к начальнику, под горячую его руку попадать.

Открылась дверь, из кабинета вышел согбенный старик. Догадался Гумилев: лагерный "лепило" - врач то есть. Да еще профессор. Неудивительно, в таких лагерях и академика можно было встретить запросто.

"Лепило" осмотрел стоящих у стены перед ним заключенных и поспешил к выходу в предзонник. И вот один за другим потянулись очередники за уходящим врачом. Свои вопросы решили обсудить в другой раз. Поняли: не в том настроении начальник лагеря. Двое только и остались. Тот, другой, как определил Гумилев, - литовец.

Открылась дверь, и какой-то начальник в штатском пригласил литовца войти. Позднее Гумилев узнает уже на стройке, что он прораб. Очень грамотный строитель, литовец Дулайтис...

- Б-432, мы вас пригласили для особого разговора, - услышал Гумилев уже ровный голос капитана Громова. - Вы инженер-строитель. И все время вы ворчите, всем вы недовольны, мол, начальники без мозгов, не умеют наладить умно работу. Так это или не так, Б-432?

- Так, гражданин начальник.

- Мы решили назначить вас главным прорабом на строительстве жилья. Вы когда-нибудь имели дело с гражданским строительством?

- Я только этим и занимался.

- И нас не устраивают темпы работы. Налаживайте работу, чтобы к весне первый дом под крышу пошел. А к осени нам необходимо сдать пять домов и школу в Ольжерасе. Завтра с утра приступайте к работе. Приглашайте себе специалистов, подготовьте список и покажете мне,

мы дадим в ваше распоряжение все, что вам будет необходимо. Вы свободны!

Гумилев стоял как раз напротив двери в кабинет. Он решил все же спросить разрешение войти к начальнику, как только от него выйдут лишние посетители, не с просьбой он пришел, а за посылкой.

Литовец вышел с тем же выражением на лице. Ни радости, ни огорчения от назначения. Сосредоточенное, умное лицо.

Гумилев постучался. Услышал разрешение войти. И остановился. Кабинет был еще полон начальниками различных служб, все в белых полушубках. И начальник был в полушубке - боярке с погонами.

- Можно? - спросил Гумилев.

- Входите, входите, господин ученый! - сделал начальник знак рукой. - Вот, товарищи, с кого надо брать пример, - показал на Гумилева. - Человек, можно сказать, прибыл в ад, а думает о науке, об истории человечества. - И уже к Гумилеву: - Мы смотрели содержимое вашей посылки, вы ее можете забрать.

Занимайтесь наукой, а стихи больше не пишите и не читайте. Все ваши беды от них. Вы свободны.

Выйдя с вахты, рванул к своему бараку. Перво-наперво все осмотрел, разложил все по своей лежанке, коснулся пальцами обложки книги и обрадовался. Книги отложил в сторону, как самое ценное. В посылке были две книги. Они-то как раз и нужны ему были. Особенно оценил он только что вышедшую там, на Большой земле, в потустороннем от него мире, "Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена" - исторический справочник Н.Я.

Бичурина! Это ли не радость?

Вошел в барак Лева-одессит и сразу завернул к Гумилеву.

- Вы белый человек, Лев Николаевич! - сообщил он. - Вашу посылку шмонал сам начальник лагеря, а он не крохобор! Те, из цензуры, да спецы из особотдела и половины бы не оставили.

Гумилев на правах хозяина угощения попросил Леву добыть кипятка. Лева знал, как это делать, у него чайник свой имелся и банки из-под консервов - вместо кружек. Чайник поставил на "буржуйку", от нее вода мигом закипит.

Пригласил Гумилев профессора Ханна, трех соседей секции. Перед вечерней проверкой Лева-одессит отозвал Гумилева в сторону и прошептал:

- Если хотите хорошо жить с надзирателем, то его надо бы угостить. От этого волка многое в вашей жизни будет зависеть.

Ну, а Гумилев разве против.

- Только я не знаю, как это делается, Лева.

- Это я беру на себя. Тут нужен конфиденциальный подход.

Подход к надзирателю Лева знал.

Выделил Гумилев надзирателю два хороших бутерброда с ветчиной, колбасой, добавил горсть дорогих конфет фабрики "Красный Октябрь", пачку папирос "Казбек".

В посылке оказалось несколько карандашей, ручка, чернильница и пять брикетов чернил. А вот бумагу не догадались положить или забыли. О бумаге Гумилев загоревал.

- Положитесь на меня, Лев Николаевич, если вам нужна бумага прямо сейчас, я вам немного дам, а если завтра, я организую больше.

- Сегодня не надо, Лева.

- Вот и хорошо! Утром я включу кое-какие связи, и все будет в полном порядке, как говорят в Одессе. Я вам создам здесь такие условия для работы, что вам будет завидовать Академия наук!

Отопительный сезон в бараке усиленного режима в пятьдесят втором закончился необычно рано. После первомайских праздников истопник под номером Б-739 уже месил грязь по дорогам и строительным зонам. Гумилеву выпала "малая стройка" - двухэтажные деревянные дома по нынешней Луговой улице. Но и там работало несколько тысяч заключенных. Растянувшаяся колонна головой упиралась в вахту стройзоны, а хвост только миновал предзонник основного лагеря. Дорога огибала топи болот, курью, мелкие водоемы, от постоянных затоплений поймы вешними водами двух рек. К тому времени были сооружены невысокие пока дамбы. Топи засыпали гравием, камнем, а они опять проявлялись.

От Дворца культуры шахты имени Ленина до Луговой улицы сколько будет? Междуреченец скажет: не более двух километров. Это сейчас, напрямую, по асфальту. Тогда же было значительно дальше. Заключенных вели до дамбы, а дальше берегом до нынешнего Междуречья. Здесь-то и проходила когда-то курья реки Усы. Курью засыпали. Лугов здесь вроде и не было, а новую улицу из двухэтажных деревянных домов, построенных заключенными, назвали Луговой.

Начальникам подневольных рабов всегда казалось, что работают они крайне медленно. Лагерные начальники решили создать дополнительно несколько бригад. Благо, зима закончилась. Из придурков собрали две бригады. Пользы от них на стройке немного, но все лагерные резервы исчерпаны.

Интеллигенты на стройке смотрелись как белые вороны. На первый случай нашли работу и по их силам. Вручили топоры, заставили шкурить бревна. Бревна надо было таскать до того места, где их ошкуривали. Затем поднимать на леса, на второй этаж, на стропила. Работа была непосильно тяжелая, к тому же большинство той интеллигенции было в том возрасте, в котором на воле она была бы на заслуженном, как стали говорить позднее, отдыхе. Самому молодому - Гумилеву - и то подходило к сорока годам. Физическая

работа за день так изматывала, что бывшие доктора, артисты, композиторы, ученые, военные еле доволакивали ноги до жилой зоны. Им перепало и от бригадников, и от охраны. После пересчета надо было пройти еще и предзонник, у иных уже не было сил преодолеть и его. А сзади напирала, торопили. Все спешили в столовую. Кого затаскивали в зону под руки, кого-то и пинками. А у тех уже не было сил добраться до пайки, до баланды. Не могли они на утро следующего дня подняться со своих нар, чтобы встать в строй для утренней проверки.

Оставались лежать беспомощными и больными.

Гумилев к середине лета тоже дошел, оказался на больничной койке. Не помнит, как и где потерял сознание. Врачи его спасли, но признали инвалидом. И надо было выбирать между бараком, в котором содержались инвалиды и престарелые, и должностью учетчика на стройке. Он понимал, что в бараке он долго не протянет, а на стройке давали хорошую, до килограмма, пайку хлеба. Но надо было все равно вместе со всеми ходить под охраной в колонне, терпеть все полагающиеся процедуры подавления личности - четыре раза в день (это в благополучный по настроению охраны день!) пересчеты, бесконечные шмоны. Он выбрал стройку. Быстро овладел навыками учетчика: невелика была мудрость! И приучил свой мозг к ежедневной работе даже по пути следования в колонне. Присланные зимой книги он уже знал почти наизусть, все ценное из них, что считал для себя необходимым запомнить, складывал в свой "сундучок". Дальше шел процесс отбора: строка к строке, глава к главе. Были в том, создаваемом им фундаментальном материале, и провалы, белые пятна, которые надо было дополнять из общения здесь с хакасами, шорцами. Хакасов в лагере было много, были среди них и такие, которые по-русски не знали ни одного слова.

Гумилев обладал фантастической памятью, энциклопедическими знаниями. Его любили слушать, продолжение "сериала" ждали. Он не рассказывал уже известные эпизоды, не повторялся. А это значило, что завтра ему предстояло двинуть свой "сюжет" дальше, творчески переосмыслить собранное, найти выход из сегодня казавшегося тупика.

О древней народности хуннах он уже вроде все знал, глава к главе складывал повествование о них в своем "сундучке", а когда предоставилась возможность, сел и с перерывами на сон, работу, еду, шмоны, пересчеты написал монографию "Хунны". Лева-одессит помог ему с бумагой, сдержал свое обещание переселить Льва Николаевича поближе к свету и теплу, позднее помог собрать в один барак и нужных для общения Гумилеву людей.

Вместе с ним в бараке к концу лета пятьдесят второго жил персидский беженец и поэт Матвей Грубиян. Грубиян был чрезвычайно вежливым и милым человеком, над ним часто смеялись за его фамилию. Вселились в этот барак оперный певец Николай Печковский и "Великий Штейн" - Сергей Штейн. "Великим" он называл себя сам. Обещал после освобождения написать большую книгу о лагерях, но так и не написал по каким-то причинам. Сюда же перебрался и Алеша Савченко - товарищ Гумилева еще по лагерю в Карабасе.

Кто волею судьбы и лагерного начальства попадал в барак вместе с Гумилевым, считал, что отбывание срока ему облегчал этот незаурядный человек. После того как зэков пересчитают, когда с той стороны барака закроет их на замок надзиратель, когда усталость буквально валит с ног, многие бригадники Гумилева тянулись к нему за продолжением вчерашнего рассказа.

По несколько вечеров кряду читал он поэмы классиков, свою стихотворную драму о трагической судьбе и несчастной любви старшего сына Чингисхана Джуди. В последний срок заключения Гумилев постоянно работал над своей пассионарной теорией. Что-то удалось записать и сохранить от многочисленных шмонов, но большая часть созревала у него в голове. Первая книга, написанная в "богом проклятом месте", в Томусе, об истории древних тюрков открыла на свободе ему путь в большую науку.

Лев Николаевич очень переживал неожиданно закончившуюся дружбу с Хасаном, иранским юношей. Однажды тот исчез. Внезапно и тихо. Спросить у начальника об иранце не представлялось возможным. Во-первых, это было опасно. Во-вторых, кто бы сказал. Возможно, Хасана срочно вывезли из Томусы в распоряжение



Лубянки. Возможно, оттуда же поступило распоряжение убрать юношу, и его тихо убрали. И только Томуса знает тайну его исчезновения.

Несколько лет дружил Лев Николаевич с настоящим китайцем по имени Чен Чжу, что в переводе на русский означало "золотой бамбук". Китаец владел русским языком, хотя говорил с большим акцентом. Чекисты взяли его в Харбине, когда туда пришла наша армия-освободительница. Работал он там с русскими мигрантами, у них и выучился языку. Двадцать лет получил за шпионаж в пользу американцев, которых за свою жизнь, наверное, и в глаза не видел.

Чен Чжу был очень образованным человеком, и главное, чем привлек Гумилева - он прекрасно знал китайские иероглифы.

- Я должен благодарить чекистов за подарок, какой они, не ведая, преподнесли мне. Ну где бы я в своем Ленинграде смог встретиться и подружиться с настоящим буддистским монахом? Из самой Лхасы! Он рассказал удивительные вещи о перевоплощениях Будды. Это ли не подарок судьбы!

Долго он обхаживал тунгуса-шамана из Подкаменной Тунгуски. В конце концов подружились, и Лев Николаевич опять же через Леву-одессита добился перевода того в их барак. Гумилев очень внимательно умел слушать представителя северного народа, у которого шаман и лекарь, и спаситель от всех бед.

Шаман научил Гумилева своему ритуальному танцу. Вместо бубна ему служила крышка от посылочного ящика.

- Ну вот, еще одному доброму делу научился, - говорил Лев Николаевич. - Сошлют меня из Томусы на крайний Север на поселение, добуду бубен и поеду на упряжках от стойбища к стойбищу злых духов изгонять.

В компании Гумилева водились очень интересные личности. Один из них - лондонский профессор. В тридцатые годы приехал он в СССР, чтобы перевести труды Ленина на язык английского пролетариата, а также принять участие в строительстве марксистского рая в отдельно

взятой стране. В тридцатые годы всех этих романтиков бросили на бетонные полы Лубянки. Сроки были "божеские": по пять-семь лет лагерей. После войны, те из них, кто остался жив, оказались на свободе. Британского подданного Джорджа Герберта Ханна вновь арестовали. Пошел он по второму кругу ада. Теперь срок прибавили, чтоб уж на этот раз хватило.

В бараках отбывали сроки ученые, профессора истории, философии из университетов Варшавы, Риги, Вильнюса, Софии, Вены. Очень много соотечественников и земляков Гумилева. Случались среди них настоящие ученые схватки. Для Гумилева существовал мир, принадлежащий только ему. Он умел даже в этих условиях находить возможность работать. Что для него окружающая действительность с ее мелкими заботами и преходящими обстоятельствами? Он, как и все, вынужден был ее терпеть, поскольку она существует и от нее никуда не денешься. Но при первой же возможности он устремлялся в свой мир.

Его место было там. В те же три часа дороги он отдавался размышлению. Идеальные условия сосредоточиться, уйти в себя.

Полтора часа туда, полтора обратно.

В степь под городом Омском поезд пришел поздней ночью. В зоне, которая была расположена недалеко от железнодорожного тупика, узники лагеря "Камышлаг" узнали, что привезли их под город Омск на строительство гигантского нефтекомбината.

Для Льва Николаевича Гумилева и тысяч его сокамерников этот этап был последним, а та зона в степи последним пристанищем в их неволе. Но в тот день, когда они вступили на омскую землю, никто и догадываться об этом не мог. Но и свобода была еще не близко.

Заклученным выдали новую форму. Но самой большой радостью после переселения было то, что на новой униформе никто не обнаружил вырезов для номеров. Вскоре было сообщено: номера отменяются!

Первая ласточка принесла неопишную радость. Но она была и последней. Никакого облегчения режима не произошло. Те же бесконечные счета-пересчеты, те же шмоны и проверки. И те же ШИЗО и БУР. Надзор, сделав как бы небольшую передышку, вновь стал лютовать. Не сменили и начальника лагеря. Громов почувствовал уверенность, стал еще более строг.

Лев Николаевич Гумилев получил первую посылку и, как когда-то в Томусе, вновь пригласил своих товарищей по несчастью к себе в барак и устроил пир.

Посылку на этот адрес прислала Эмма Герштейн, самый верный друг и помощник Анны Ахматовой в периоды Левиных отсидок.

14 сентября 1954 года Лев Николаевич пишет:

"Спасибо, милая Эмма, за письмо. Очень приятный сюрприз. Продукты в посылках обаятельны и доходят вполне исправно. Из банок я пью чай, как из стакана.

Благодарю Вас и Вашу милую заботливость обо мне, хотя удивлен, как Вам и маме не надоело мое вечное неблагополучие. Мне самому надоело настолько, что я перестал даже расстраиваться, а тем паче заботиться о себе. Живу одним днем, как мотылек, и стараюсь извлекать из созерцательной жизни приятные впечатления. Влюбился я в сочинения советского писателя М. М.

Пришвина, которого прислали к нам в библиотеку. Удивительно он врачует душу.

Я стал совсем старым, седобородым, скоро из меня посыпется песок, но зато я стал мудр и спокоен, как бронзовая статуэтка. Вам это смешно покажется: Вы привыкли видеть меня экспансивным.

Еще раз благодарю Вас за письмо и хлопоты. Целую Ваши ручки. - Leon".

Регулярную переписку с Гумилевым Эмма Герштейн возобновила осенью 1954 года. По окончании войны она с ним виделась редко, а

после его последнего ареста в 1949 году помогала Анне Ахматовой, собирая и отвозя по пригородным подмосковным почтам ее посылки сыну в лагеря - вначале в Карагандинскую область (Карабас, Чурбаи-Нурунское п/о), затем в Кемеровскую область и, наконец, в лагерь под Омском.

Анна Ахматова все годы разрывалась на два города. Она жила по нескольку месяцев в Москве у Ардовых и в своей квартире в Ленинграде. Часто у великой поэтессы не было средств, чтобы организовать и отправить посылку сыну. Ей помогали ее близкие друзья, в частности Эмма Герштейн. Она была на несколько лет старше Льва Николаевича. Когда Левушка был молодым, она увлеклась им, и многие годы сохраняла надежду на их будущие отношения. Но им не суждено было сбыться, после своего последнего освобождения отношения те, по сути, прекратились. Эмма тяжело переживала свое увлечение. Но надо сказать, что Лев Николаевич долго еще оставался благодарным за неоценимую помощь ему в лагерный период от Эммы Герштейн. Кроме писем, в которых стремилась поддержать дух опального ученого, она посылала довольно часто посылки, научную литературу.

«7 декабря 54 г.

Милая Эмма!

Простите, что я не сразу отвечаю на Ваше милое, приветливое письмо. Я был очень тронут Вашим желанием приехать повидать меня, но, к сожалению, это невозможно. Только родители, дети и зарегистрированные жены имеют право на свидание, так что ко мне может приехать только мама. Но поднимать маму на такую дорогу, без ночлега в Омске, ради 2 часов, невозможно. Кроме того, мой внешний вид только расстроит ее. Поэтому я решил не тревожить ее понапрасну. Вам я очень благодарен за внимание и доброту ко мне. Ваше чувство и письмо тем более ценно, что скорее всего мы не увидимся. Здоровье мое неуклонно слабеет и до конца я не вытяну, несмотря на любую медицину.

Да и пора, довольно мучиться, надоело.

Целую Ваши милые руки, искренне и нежно - Leon.

22 декабря 1954 г. (телеграмма).

Напомните маме обо мне похлопотать. Лева».

На другой день Эмма Герштейн послала в Омск ответную телеграмму: "Помним.

Постарайтесь сохранять спокойствие. Это самое главное. Эмма".

15.1.55 г.

Дорогая Эмма!

Я получил Ваше письмо и телеграмму и сегодня вечером получу Вами составленную посылку. Милая Эмма, Ваше внимание и расположение ко мне выше всех возможных восторгов. От этого мне значительно легче дышать. Получил я и мамину открытку, от которой весьма повеселел. Не то чтобы я начал строить планы на жизнь, хватит с меня разочарований, но приятно признание моих научных заслуг и возможностей. В остальном я живу по-прежнему, но всякую приятность приму с радостью. Здоровье мое поправляется. Операция прошла благополучно, ибо хирург у нас мастер. Если на меня не свалятся опять непосильные труды, надеюсь, что мое физическое состояние стабилизируется.

Как там фигурует мама? Я ей написал огромное письмище, но она, возможно, не скоро вернется домой и, значит, не скоро его получит. Поцелуйте ее от моего имени и велите написать открытку. Я вошел во вкус эпистолярного стиля.

Как будто за последний год жить стало легче и веселее. Мне многие знакомые написали. Эмма, милая, пишите иногда, мне очень это радостно. С Вами у меня связаны приятные ассоциации. Теперь я сед и брадат: меня называют "Батя", но душа здесь не развивается и душой я в том возрасте, в котором был 5 лет назад.

Целую Ваши ручки, дорогая, - Leon.

8 марта 1955 г.

Дорогая Эмма!

Ох, как я на Вас сердит. Зачем было говорить маме про мои болезни? Хотел было не писать Вам, но потом сообразил, что Вы одна из немногих в мире моих знакомых, не причинивших мне зла. Теперь, когда жизнь на исходе, я стараюсь вспомнить все хорошее и тогда неизбежно вспоминаю Вас.

Простите за корявость почерка. Я надорвался вчера при подъеме тяжестей и лежу опять в больнице, причем движениям моим соответствует некая специфическая градация, отражающаяся на почерке. В Вашем письме ко мне ничего не было про маму - как она себя чувствует, как выглядит и т. п.

Мамин эпистолярный стиль несколько похож на издевательство, но я знаю, что это неумышленно, вернее, просто недостаток внимания ко мне. Вы человек тонкий, наблюдательный и нормальный, и я был бы весьма Вам признателен за некую консультацию касательно мамы. Что она любит меня, я знаю, но в понятие любовь вкладывается столь разнообразное содержание, что сказать "любит" - слишком мало. Она настолько держит меня в неведении своего быта, положения, времяпровождения и т. п., что я начал просто теряться. Все-таки, я полагаю, что 1 посылка в месяц не покрывает всего долга матери перед гибнущим сыном, и это не значит, что мне нужно 2 посылки. Вы можете заметить, что я чувствую себя несколько обиженным невнимательным обращением со мной. Например, сообщая мне о заявлении ак. Струве, мама не написала ничего по поводу содержания его и т. п. Эмма, милая, объясните мне, стоит ли обижаться и действительно ли я остался в маминой памяти как отдаленная ассоциация идей и рефлексов или у нее есть добрая воля к активной помощи. А ламентации по поводу моего здоровья меня просто бесят. Пора понять, что я не в санатории, хотя условия сейчас очень улучшились, но подавленность настроения остается прежней, а отсюда вытекает и несопротивляемость организма. Нельзя жить без радости, она как витамин. У меня иногда возникает подозрение, что

мама любит меня по инерции, что она отвыкла (по-женски) от меня, ибо довлеет днєви злоба его. Я не могу забыть, как трудно было найти тон для общения в 45 г., и своего недоумения также не могу забыть. А сейчас, за последнее время, я душой чувствую какую-то пустоту, усугубленное одиночество. Но я думаю, Вы меня поняли и надеюсь ответите и уповаю - не вводите меня в заблуждение сознательно. Это было бы псевдогуманно и очень дурно по существу. Пришли за письмами. Надо кончать, чтобы успеть отправить.

Целую Ваши ручки, дорогая, больше не сержусь на Вас и жду ответа - L.

Тут у нас один омский поэт делал доклад о съезде. Я задал ему вопрос о маме. Он сказал, что она "в творческом подъеме" и что к ней приезжали английские студенты справляться о здоровье. А я о ней знаю только, что ей нравятся корейские стихи XVII в. и "что она ходит платить за телефон". Даже о материальном ее положении я ничего не знаю. Согласитесь, что это жестоковато, а мне и без того кисло.

"Одним омским поэтом" был Сергей Павлович Залыгин. Он выступал в лагере сразу после съезда советских писателей, который прошел в конце декабря 1954-го. Залыгин сказал сыну Ахматовой, что его мать сидела в президиуме съезда вместе с членами правительства.

Известие об избрании Ахматовой делегатом съезда повергло в шок всех грамотных людей в лагере. Узнав из газет, что заключительным заседанием съезда был правительственный прием, друзья Гумилева по лагерю вообразили, что это был единственный удобный случай для "качания прав" Ахматовой. Им казалось, что она могла шумно-демонстративно протестовать против заключения ее невинно осужденного сына.

Действительно, Анна Андреевна начала осторожно вести хлопоты о Лєве. Она переговорила с Эренбургом. Он взялся написать лично Н. С. Хрущеву, приложив к своему депутатскому письму ходатайство академика В. В. Струве. Но Лев Николаевич уже никогда не мог освободиться от ложного убеждения, что на съезде его мать упустила единственную возможность просить за сына.

Образ жизни Ахматовой порождал множество сплетен, не без помощи властей. И Льву Николаевичу было невдомек, что его одинокая мать, живя годами в чужих семьях, не может есть, пить, болеть, принимать нужных людей и друзей, не участвуя в общих расходах своих гостеприимных хозяев. По этому поводу можно упомянуть об одном раздутом эпизоде, продолжающем до сих пор бросать незаслуженную тень на имя Ахматовой. Речь идет об автомобиле "Москвич", подаренном Анной Ахматовой Алексею Баталову, тогда еще не прославленному киноактеру, а скромному солдату, отбывающему воинскую повинность. Со своей молодой женой он занимал семиметровую комнату, из которой их выселяли, когда Ахматова приезжала в Москву к его матери Нине Антоновне. Поэтесса жила в их комнате не менее четырех месяцев подряд, а когда заболела, и дольше. Между тем, в 1953 году она заработала большие деньги за перевод драмы Виктора Гюго "Маркон Делорм", которая печаталась в юбилейном издании, оплачиваемом по повышенным ставкам. Естественно, что, став по тем масштабам богатой, она делала посильные подарки окружающим ее друзьям. А Баталову - особенный. Он его заслужил. Маленький "Москвич", стоивший тогда 9 тысяч, доставил Алексею много радости, а Анне Андреевне нравственное удовлетворение.

Пока по России катились сплетни и анекдоты об Ахматовой, книги ее стихов не выходили, она продолжала тайно писать новые. В то же время она начала осторожно собирать ходатайства видных ученых-специалистов о пересмотре дела сына. Это были академик В. В. Струве, членкор, впоследствии тоже академик Н. И. Конрад, доктор исторических наук, директор Эрмитажа М. И. Артамонов, а из писателей в хлопоты включились М. А. Шолохов, И. Г. Эренбург, секретари Союза писателей А. А. Фадеев и А. А. Сурков.

Эмма Герштейн хотела послать Леве копии блестящих рецензий ученых, но Анна Ахматова опасалась, как бы в его настоящем зависимом и унижительном положении это не вызвало нервного срыва. Она предполагала, что отзывы могут повредить Леве в глазах лагерного начальства. Так оно и случилось. "Значит, есть какая-то вина, если его все-таки держат здесь", - засомневалось оно, и на всякий случай устроило Льву режим. Его положение становилось уже очень неординарным. Он писал 22 февраля 1956 года: "Жаль, что до



сих пор нет ответа; это действует на нервы не только мне, но и начальству, которое никак не может понять, хороший я или плохой. Поэтому мое состояние вполне лишено стабильности, что причиняет мне массу затруднений".

Освободившийся из лагеря в апреле 56-го один из Левиных друзей, униатский священник из Западной Украины, писал Эмме Герштейн: "На Льва Николаевича в последнее время был нажим, несколько месяцев имел спокойствие, но после последних отзывов, а последние не особенно нравятся нашим, и решили прижать. Видно, хотят сломить веру в свои собственные способности и силы, а возможно, и другие причины, для Вас известные".

Нет ничего удивительного, что слова именитых ученых о Гумилеве заставили местное начальство призадуматься. "Удаление Гумилева из рядов советских историков является, по моему мнению, существенной потерей для советской исторической науки", - писал академик В. В. Струве. Он говорил о недавно умершем профессоре А. Ю. Якубовском, потерю которого нечем заменить, кроме как Гумилевым, и смело указывал на его "глубокие знания и зрелость мысли".

Профессор Артамонов говорил о незаурядном даровании Л. Гумилева и его блестящих знаниях в избранной специальности.

Академик А. П. Окладников подчеркивал, что соприкасался с Гумилевым только по ходу своих научных занятий. С большим нажимом сообщал, что не он один считает Гумилева "крупным, я бы сказал, даже выдающимся исследователем прошлого народов Центральной и Средней Азии", что многие ученые, читавшие внимательно его работы, разделяют его, Окладникова, мнение о "свежести мысли и подлинной историчности его взглядов". В заключение просит по возможности ускорить пересмотр дела Л. Н. Гумилева "в надежде, что здесь во времена Берии могли быть допущены нарушения советской законности".

V.

25 марта 1955 г.

Эмма, дорогая, простите меня, что я немножко сердился на вас. Я был полностью не прав, а вы поступили как надо. Пускай она поплачет, ей ничего не значит. (Заключительные строки "Завещания" М. Ю. Лермонтова. - Ю. П.). Да, вы правы, у мамы старческий маразм и распадение личности, но мне от этого не только не легче, но наипаче тяжелее. Начну с конца. Вы пишете, что не мама виновница моей судьбы. А кто же ? Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы, при всем остальном, процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, каких множество. Сама мама великолепно знает мою жизнь и то, что единственным поводом для опалы моей было родство с ней. Я понимаю, что она первое время боялась вздохнуть, но теперь спасти меня, доказывать мою невиновность - это ее обязанность;

пренебрежение этой обязанностью - преступление. Вы пишете, что она бессильна. Не верю. Будучи делегатом съезда, она могла подойти к члену ЦК и объяснить, что у нее невинно осужденный сын. Что толку писать заявление по инстанции. В моем деле любой чиновник не возьмет на себя решения, а попытается спихнуть дело с себя, и формальный отказ неизбежен.

Я писал маме об этом осенью. Она как будто поняла, но бесполезно. Спасти меня можно только одним способом: добиться того, чтобы член правительства или ЦК обратил на меня внимание и пересмотрел дело без предвзятой мысли. Я этого отсюда не могу добиться и вообще ничего не могу, а она не только могла, но и должна была. Сумела же она спасти мужа в 1935 г.

В чем дело, я понимаю: мама, как натура поэтическая, страшно ленива и эгоистична, несмотря на транжирство. Ей лень думать о неприятных вещах и о том, что надо сделать какое-то усилие. Она очень бережет себя и не желает расстраиваться. Поэтому она так инертна во всем, что касается меня. Но это фатально, т. к. ни один нормальный человек не в состоянии поверить, что матери наплевать на гибель сына. А для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная - сыночка потеряла, и только. Но совесть она хочет держать в покое, отсюда посылки, как объедки

от стола для любимого мопса, и пустые письма, без ответов на заданные вопросы. Зачем она вводит в заблуждение себя и других: я великолепно понимаю, что посылки из ее заработка, вернее из тех денег, которые дает правительство. Не надо быть наивным - ее бюджет рассчитан, и я учтен при этом. Потому если говорить о справедливости, то она должна прислать мне 1/2 заработка. Но теперь, действительно, мне не хочется питаться объедками с господского стола. Не кормить меня она должна, а обязана передо мной и Родиной добиться моей реабилитации - иначе она потакает правительству, жертвой которого я оказался.

Неужели она этого не понимает?! Страшно.

В тяжелое время, когда мы оба голодали, я ухаживал за ней во время шести ее болезней. Я не знал отдыха, я отказывал себе во всем. И при этом я стремился ввести ее обратно в жизнь, уговаривал не поддаваться горю и работать для советской литературы, как я сам всю жизнь работаю для советского востоковедения. Делал я это тактично, не задевая ее больного места. Но теперь, в дни ее благоденствия, которое я имею право разделить, если она не понимает своего долга, - как мне к этому отнестись?

Ее поведение могло быть оправдано только в том случае, если бы я сам был причиной своей беды. Но этого не было. Признаюсь, я отчасти предполагал, что она может быть легкомысленной, ибо я ее характер знаю. Но действительность превзошла мои ожидания и опасения. Да, ее сон в руку. Тат.

(ьяна) Ал. (ександровна), старая дама, которая влюбилась в меня и, видимо, бескорыстно. Близости у нас не было, с моей стороны было только дружеское расположение. Но она мне писала теплые слова и посылки слала, как вы. Эмма, милая, дорогая, как бы я хотел расцеловать ваши руки и вас, но вряд ли это будет. Напишу о здоровье моем как есть. Моя нервная система от перенапряжения расстроена как будто необратимо. У меня иногда отказывает сердце, и я ложусь в обморок, как будто без причины. Желудок работает так вяло, что образовалась язва 12-перстной кишки. Операцию сделать отказались, лечили подсадками, паллиативно. Я надорвался при подъеме тяжести не слишком тяжелой, значит, отказывает

мускулатура. Все вместе значит, что максимум, через полгода я потеряю работоспособность и мне будет еще хуже - я не смогу заниматься историей, которая одна меня держит. Тогда возвращение мне будет не нужно.

Еще одно - приезд мамы ко мне и хоть немного душевного тепла, конечно, поддержали бы меня, дали бы стимул к жизни. Но я думал, что она по-прежнему стеснена в деньгах, и пожертвовал собой. Поездка в Омск не тяжелей поездки в Ленинград, а имея деньги, можно было прилететь. Но теперь это непоправимо - пусть ее судит собственная совесть.

Что будет дальше?.. По-видимому, я тихо скачусь в инвалидность и смерть, которая меня не пугает. Жаль только, что мой научный талант уже развился и теперь мне бы давать и давать нашей науке как раз то, что наиболее актуально, - общее востоковедение, введение в предмет, без которого любая работа неполноценна. Так, неполноценны переводы Цой Юаня, поэта гениального, непревзойденного. Чтобы понять его, переводчику нужно знать историю Китая, а не только язык; исторический же талант так же редок, как поэтический. Я прилагаю к письму записку, которую, прочтя, переправьте, пожалуйста, по адресу, либо в руки, либо по городской почте. Эмма, милая, родная, спасибо вам. В эти пять лет неведения молчание, пустые письма были для меня самым тяжелым, более тяжелым, чем все остальное. Теперь мне легче.

Пожалуй, нечего затягивать мою агонию посылками. Еще раз целую вас, милая - Л.

\*\*\*

Внимательный читатель многое понял из этого письма Льва Николаевича Гумилева Эмме Герштейн. Я же не вправе давать какую-то оценку поведению узника Гумилева, а тем более размышлять о его отношении к своей матери.

Скажу лишь, что в тридцать пятом году Анна Андреевна Ахматова "сумела спасти" не только своего мужа Н. Н. Пунина, но прежде всего своего сына Левушку, за него-то она больше и хлопотала, как мы знаем из свидетельств очевидцев. И о вложенной в письмо записке. Адресовалась она Виктору Ефимовичу Ардову, отчиму Алексея Баталова и мужу одной из самых верных друзей Ахматовой - Нины Антоновны. Половину своей жизни в опале поэтесса прожила у этих людей, не являясь им родственницей. Записка начиналась смешной и нелепой фразой: "Что я вам плохого сделал?" Эмма Герштейн правильно сделала, не передав и не переслав ту записку адресату, а уничтожила ее тут же. Читатель, хорошо знающий жизнь Ахматовой на воле, улыбнется и по поводу "денег, которые дает ей правительство".

Впервые так открыто и несдержанно пошел на конфронтацию с матерью Лев Гумилев, активно подогреваемый в неволе его лагерными "кирюхами". И этот конфликт между сыном и матерью, к великому сожалению, продлился до кончины великой поэтессы.

Я полагаюсь на чутье своих читателей, на их умение различать настроение узника Камышлага, а письма говорят о многом. Мне остается сожалеть лишь о том, что я не могу в своей книге опубликовать все письма Гумилева из лагеря. Для них место в других изданиях. Я нигде не встречал писем Гумилева из Томусы и письма ему сюда адресованные. Все они, по словам самого Гумилева, уничтожены по соображениям частых шмонов, цензуры, постоянных якобы переездов из одного лагеря в другой. Возможно, мы никогда не узнаем настоящей причины их уничтожения. Скорее всего это останется неразгаданной загадкой для последующих исследователей жизни Льва Гумилева. Но даже для малого предположения необходимы более глубокие исследования. Такой задачи перед собой я в этой книге не ставил. И рассказываю лишь только то, о чем хорошо осведомлен.

... 25 февраля 1956 года закончился исторический XX съезд КПСС, на котором с разоблачительной речью культа личности Сталина выступил Н. С. Хрущев. Через несколько дней после него стало известно: приговор Л. Н. Гумилеву будет опротестован самим Генеральным прокурором СССР.

10.III.1956.

Милая Эмма. Вчера я послал вам и маме письмо, а сегодня пришла ваша открытка от 1/III. Я потрясен радостью, даже чуть-чуть заболел от нее. Это как будто воскресение. Появился новый стимул жить, охота к работе. Один друг мне сказал: "У вас есть будущее, но нет настоящего". Это отчасти верно, но мои мысли и знания, которые благодаря присланным книгам растут, - это уже кое-что.

Как мне жаль, что вам приходится так волноваться, и маму жаль. Посылка прекрасная, материально я ни в чем не нуждаюсь. Я как чувствую сейчас ваше участие и заботу, и мои обиды (прошлогодние) совсем прошли. Прошу вас, поцелуйте маму и успокойте ее, приободрите как можете. Я постараюсь держаться и не поддаваться ни болезням, ни тоске.

Целую вас и от всей души благодарю - Leon.

7.v.1956 г.

Милая Эмма.

(Публикуем из этого письма постскрипtum. - Редакция).

P.S. Эмма, вы умная, дайте мне совет: "Как в жисти (дальнейшей) жить". Это значит: какие взаимоотношения у меня могут возникнуть - старые, которые восстановятся, или совсем новые?

Я совсем запутался, а в нашем психологическом состоянии любая доля неопределенности ядовита. Мама, внеся в меня эту неопределенность, причинила мне очень много боли и вреда для здоровья. Серунчик может вам рассказать, как я чуть не помер от сердца, а ведь это было на нервной почве, когда вместо ответа на вопрос посыпались описания тополя. Я не представляю, насколько изменилась жизнь и люди, а когда не представляешь цели, то как к ней стремиться? Но стремление - домой единственный стимул жизни. Я должен знать, чего хотеть; разумеется, не в плане карьеры, а в

плане психической жизни, т. е. взаимоотношений. Даже если ответ опять затянется, то решение, подсказанное вами, вернет мне покой, который мама зачем-то разорила. Это было с ее стороны жестоко и бессмысленно. Не знаю, зачем она это сделала. Я имею в виду воскрешение воспоминаний. Но дело не в том. Что и как?

Привет С.С.С. Его я люблю. L.

Это последнее письмо, отправленное Эмме Герштейн Львом Гумилевым из Омска. (Часть писем Гумилева Эмме нам пришлось из повествования выпустить. - Редакция).

Весной пятьдесят шестого года в Омске работала так называемая микояновская комиссия. Она вынесла решение о досрочном освобождении Гумилева. Произошло это 18 мая 1956 года. Из состава бывшего Камышлага Лев Николаевич вышел почти последним. Он явился в Москву, когда его дело еще лежало на столе у Генерального прокурора Руденко, ждало его возвращения из Баку для оформления протеста. Кстати, это обязательность протеста именно Генеральным прокурором тоже указывает на сложность политического положения А. А. Ахматовой, судьбы Н. С. Гумилева и их сына Льва Николаевича.

\*\*\*

О том, что Лев Николаевич Гумилев отбывал в лагере особого назначения Камышлага, я узнал совершенно случайно. По Центральному телевидению показывали короткое интервью с ним, запись велась, как позднее узнал, из его домашнего рабочего кабинета. А телевизор я включил в самом конце передачи. И мой слух сразу же резанула фраза: "Я строил в Томусе...". Надо ли говорить о том, что я испытывал в момент начала моих поисков узников лагеря особого назначения? Но тут передача закончилась. Бесполезно кричать и умолять повторить ту фразу, прокрутить пленку назад. Но у меня уже был адрес. И я тут же написал письмо Льву Николаевичу,

вложил в пакет два выпуска городской газеты с первой публикацией Сиблага и отнес на почту.

Удивительно быстро получил ответ из Санкт-Петербурга, на конверте - обратный адрес: "СПБ Коломенская 1/15, кв. 4, Гумилев Л. Н.". Очень короткое письмо. Это позднее узнал, как тяжело давалось ему каждое слово. Лев Николаевич уже в буквальном смысле был прикован к постели.

... В нашей литературе немного, наверное, найдется примеров, когда кровное родство имен так постоянно оборачивалось бы таким значимым историческим драматизмом:

«Муж в могиле, Сын в тюрьме. Помолитесь обо мне».

Автор этих строк Анна Андреевна Ахматова - гордость русской поэзии. Муж - Николай Степанович Гумилев - тоже знаменитый поэт, хотя известный гораздо меньше. Сын - Лев Николаевич Гумилев - профессор, востоковед, географ, философ-мыслитель, великий русский ученый. Каждый в общем нашем сознании по сути уже почти никогда не выпадет из триады. Каждый постоянно усложнял судьбу двоих - и жизненно, и житейски - брал на себя тройной груз и невзгод, и почестей, и забвения, и внимания.

Ведь Анна Ахматова для нас - не только сама по себе, но и навсегда даже разволившаяся с ним - жена Николая Гумилева. Николай Гумилев - не только сам по себе, но и - навечно - даже разведшийся с ней - муж Анны Ахматовой. Лев Гумилев - не только сам по себе, но и обреченно - сын их.

В первых числах марта 1992 года я вылетел в Санкт-Петербург к вдове адмирала Боголюбова и для встречи с Гумилевым. В своем письме вдова Боголюбова обещала предоставить в мое распоряжение записи, блокноты, мемуары, фотографии Сергея Александровича Боголюбова. Во имя этого я мог лететь на край света, а тут еще предоставлялась возможность встретиться с Гумилевым!

Через несколько дней, когда моя работа с материалами Боголюбова подходила к концу, я позвонил Гумилеву. Представился.



Ответила мне жена Льва Николаевича Наталья Викторовна. Я рассказал о цели и необходимости нашей встречи с Гумилевым. Мне было сказано, что Лев Николаевич по причине очень тяжелого недуга никого не принимает, врач запретил ему всякие встречи, но!.. Слышу в трубку мужской голос... для меня делается исключение, я могу завтра быть к двенадцати часам. Рассказала Наталья Викторовна, как мне доехать, как набрать код на входной двери.

Старый район города, дома мне хорошо знакомы по Достоевскому. Иду, люблюсь. У одного из угловых домов, у подъезда, небольшая толпа, узнаю - телевизионщики, журналисты. Смотрю на номер дома, парадной - и, оказывается, мне в тот самый подъезд, у которого стоит моя братия. Подхожу уверенно к подъезду, набираю код, говорю в микрофон какие-то слова, и передо мной открывается дверь. На меня никто не обратил внимания, хотя на моем плече висел кофр, в котором была фотоаппаратура, диктофон.

Поднимаюсь на второй этаж, на дверях четвертой квартиры опять надо набрать код, я его знаю, уверенно набираю нужные цифры. Открывается дверь, и меня встречает Наталья Викторовна, очень красивая, колоритная русская женщина, словно она только что сошла с одной из картин Кустодиева. В прихожей девушка в белом халате сказала, чтобы долго не задерживался. В два часа придет врач и, не дай Бог, застанет меня здесь, попадет всем.

Большой зал. Огромный письменный стол у большого окна на Коломенскую улицу. Во всю стену стеллажи с книгами, на противоположной стене - барельеф портрета в профиль Анны Ахматовой. Под ним кожаный диван. Навстречу мне поднялся невысокий, крепкого телосложения, узнаваемый по фотографиям Лев Николаевич Гумилев. Познакомились. Я передал сибирский подарок - кедровые орехи и несколько шишек на ветках.

- Это с тех кедров, которые я видел из зоны? - спросил Гумилев.

- Нет, Лев Николаевич, те кедры не сохранились, но это из Томусы.

Мне предложили сесть у стола, под большим стеклом которого, ближе к краю, фотография Льва Николаевича с номером - Б-739. Этот номер он носил в Томусе.

- Это у вас фотографировали, - уловив мой взгляд, сказал Лев Николаевич, - дня через два-три как меня туда привезли. Вот таким я тогда был...

Я достал из кофра фотоаппарат и диктофон. Лев Николаевич, извинившись, прилег на диван. Фотоаппарат я тут же убрал на свое место, скрыв тем самым свою бестактность. Наверное, мог бы и снять Льва Николаевича, мне наверняка разрешили бы, но в тот момент решил, что делать этого не следует. Был вознагражден в конце нашей встречи тремя фотографиями Льва Николаевича.

Я видел, как ему тяжело, медсестра Леночка делала обезболивающие уколы, массажировала. Лев Николаевич крепился, несколько раз поднимался, закурил "Беломор", пачка которого лежала на углу стола. Он разрешил и мне курить. Предложил ему дорогие, специально купленные для визита сигареты, но он ответил, что предпочитает папиросы, и на вопрос, почему именно "Беломор-канал", ответил:

- Потому что я его немного строил.

Включил диктофон. Было великое желание записать голос этого человека-легенды, великого русского ученого, человека, на себе испытавшего все ужасы сталинских репрессий, фронтовика, просто приятного в общении человека.

Вот эта запись:

- Лев Николаевич, вы уже сказали, что этот номер вам выдали у нас, в Томусе, а до того, в других лагерях особого назначения тоже были номера?

- "Б-739" у вас, в Томусе, а первый номер - в Караганде. Меняли лагерь, меняли и номер. Я был в "Печлаге", в "Луглаге" и в

"Камышлаге". А этот номер сняли уже после смерти Сталина в Омске. До Омска нас везли с номерами.

- А как вы попали к нам, в Томусу? Вас везли поездом?

- Из Тайшета до Новокузнецка поездом, а там на машине до Междуречья, до лагеря.

- Ну, а в пятьдесят третьем, наверное, вас отправляли на поезде, в Междуреченске тогда уже была дорога?

- И обратно меня везли до Новокузнецка на машине, а там погрузили в вагон и увезли в Омск.

- В Новокузнецке не приходилось проходить через распредлагерь в Абагуре? Через него очень многие политзаключенные прошли.

- Нет, с машин нас сразу втолкнули в вагон, и ночью поезд отправился. И когда в Томусу везли, из вагона сразу погрузили в машины.

- Судя по вашему письму мне, вы хорошо запомнили Междуреченск?

- На всю жизнь!

- В "Камышлаге" было две зоны. Одна в Ольжерасе, другая в Междуречье. Вы были, как я понял, в Междуречье?

- Да.

- Дома, которые вы там строили, хорошо сохранились.

- Я там главным образом и дошел.

- Значит, вы хорошо работали, если они до сих пор стоят.

- Так люди-то были не умеющие плохо работать.

- Наверное, и нужда заставляла хорошо работать, за пайку...

- За пайку - да! Ну, пайку все равно выписывали. Там у нас прораб был по фамилии Шапур. Страшный матерщинник, но очень добрый человек. Никому никакого вреда не делал и всем пайку выписывал.

- Лев Николаевич, вы помните, кто у вас начальником лагеря был?

- Громов!

- О нем разное говорят, а что вы можете о нем сказать?

- Тяжелый он был человек, ему лучше было на глаза не попадаться, он находил причину, чтобы наказать человека.

- А кого вы запомнили из тех, кто был рядом с вами?

- Печковский был там. Потом Алеша Савченко. Потом был Сережа Галушко, умер он, потом был Сергей Штейн. "Великий Штейн" - называл он себя. Говорил, что он великий писатель, потом он освободился, но до сих пор я ничего его не читал. Кого еще там запомнил? Был еще Джордж Ханн, переводчик Ленина на английский язык. Англичанин, профессор Лондонского университета. А как он попал в советский лагерь? Приехал в Союз переводить Ленина, его здесь и арестовали, дали срок, вот он там и оказался, я с ним хорошо знаком был, дружил. Был еще еврейский писатель Грубиян. Он был вежливый человек, а фамилия у него была - Грубиян. Над ним все смеялись.

- Лев Николаевич, а уголовники в вашей зоне были?

- Редко. Но они отбывали по пятьдесят восьмой, в уголовной зоне заработали пятьдесят восьмую, их к нам и отправляли.

- А кто нападал на тебя? - спросила присутствующая при разговоре жена.

- Уголовник! Он пришел поговорить по телефону. Кто-то сказал, что звонить запрещено. Он ударил того по носу. Началась потасовка.

Я ушибся. Данченко решил убить меня топором, но меня защитили. Алеша Савченко оказался вовремя, он меня от топора и прикрыл. Так меня и не убили. Потом-то он опамятствовал и больше мне не угрожал, а через день об этом узнали начальники и всех бывших уголовников отправили на этап.

- В зоне был беспредел?

- Условия были страшные, но беспредела не было. Там ведь было много фронтовиков, бендеровцев, власовцев, они очень соблюдали предел.

- Когда были у нас, была с мамой связь?

- Одно письмо в год!

- Вы могли писать сколько угодно?

- Нет, это мне сколько угодно могли писать, а я одно только письмо в год, но мы находили другие пути связи, "левой" почтой чаще пользовались.

- Сколько можно было получать посылок?

- Посылки разрешали раз в месяц, иначе мы все там дошли бы.

- А кормили по результатам работы?

- По результатам работы. И по шестьдесят граммов, и по килограмму пайку давали.

- Некоторые в Томусе мне говорили, что выдавали омуля, горбушей кормили...

- Нет, этого не было. Начальство, может быть, и омуля кушало, и горбушу, может, даже икру...

- Он до сих пор треску не может есть, щи кислые, - вступила Наталья Викторовна.

- Леночка! - крикнул Лев Николаевич медсестру.

Я выключил диктофон. Медсестра быстро подошла к больному, и, пока она помогала Льву Николаевичу, я очень тихо разговаривал с Натальей Викторовной. Она сказала, что два года назад в Москве у Левушки случился инсульт, с тех пор он стал себя чувствовать все хуже и хуже. Старался успокоить ее тем, что весной, а она уже наступала, ему будет легче, все благополучно обойдется. Наталья Викторовна сказала, что он всегда был великим оптимистом, а на этот раз и в окно смотрит без надежды, не те глаза у него.

Наталья Викторовна - москвичка, художник, училась в мастерской известного Сергея Герасимова. Я не видел ее работ, но мне показалось, что она интересный художник. Нельзя быть не интересным рядом с таким человеком, как Лев Николаевич.

Медсестричка Леночка как только отошла от Гумилева, показала мне на часы, мол, пора. Было без пятнадцати два. В два должен прийти врач. Стал прощаться с Львом Николаевичем. Он что-то знаком показал жене, и она через минуту внесла три книги и три большие фотографии Льва Николаевича. На книге "Этногенез и биосфера земли" он написал автограф лично мне. На книге "География этноса в исторический период" написал: "Милым междуреченцам от автора Л. Гумилева". Третья книга была "От Руси к России". Лев Николаевич объяснил, что это его последняя книга, выйдет она летом, а это сигнальный экземпляр, естественно, дарить его нельзя. Я лишь посмотрел, погладил книгу и вернул в руки автора. Мы тепло попрощались. Лев Николаевич обещал выслать книгу "От Руси к России" сразу после выхода в свет.

- Шахтерам Междуреченска от меня привет, - сказал он.

Еще раз попрощались, Лев Николаевич поднялся с дивана, пожали руки.

После того как выключил диктофон, после того как Леночка сделала все свои дела, мы говорили с Львом Николаевичем на гулаговскую тему. Он получил мой "Сиблаг" в газетном варианте. То

было начало, первая попытка рассказать о лагерях Томусы. Лев Николаевич очень лестно отозвался о начале моей работы.

И на вопрос, стоит ли продолжать ее, вроде бы и так уже много сказано, Лев Николаевич ответил:

- Это только начало. О Гулаге никто еще не сказал так, как это того требует. Об этом необходимо говорить. Если бы еще стали доступны все архивы...

- Лев Николаевич, вы сами прошли ужасы Гулага, а как вы относитесь к тому, что уже сказал Солженицын?

- И он сделал только попытку, большую попытку рассказать о том, что там было. И он многого не знает. Вам надо больше работать с людьми, которые пережили сталинщину, в архивах, если это возможно, а бывших политзаключенных, жертв террора становится с каждым годом все меньше и меньше. Особенно не верьте тем, кто в лагерях был придурком, им там хорошо жилось, они все преподносят в несколько иных красках. Искать и встречаться надо с теми, кто собственной шкурой пережил Гулаг.

- Что ждет нашу Россию?

- У России большое будущее. Все, что происходит, Россия уже пережила не однажды, ничего нового пока никто не изобрел. Все это было!

- Как вы отнеслись к забастовке шахтеров, кстати, начались они в Междуреченске?

- Внимательно следил и в курсе всего, что там происходило. Людей довели до черты, мыло и продукты они теперь получили... а что дальше? Как распорядиться свободой, мне показалось, они не знают. У нас нет опыта жить свободно, к сожалению. От этого и много дров...

Я вышел на Коломенскую улицу. Кучка журналистов, стоящих у подъезда, вдруг обратила на меня внимание.

- Вы от Гумилева?

- Да.

- Как вам удалось?

- Это долго рассказывать, ребята.

Я не ответил больше ни на один любопытствующий вопрос. Мне было важно сохранить то, что я только что пережил... тогда еще не знал, что больше судьба не подарит мне новой встречи с этим человеком. Этим последним из триады Гумилев - Ахматова - Гумилев.

... В июне 1992 года Санкт-Петербург прощался с Львом Николаевичем Гумилевым. Он был выдающимся мыслителем XX века, чье имя сквозь зубы произносила официальная советская наука, историком, создавшим одну из самых значительных концепций развития человечества, которая лишь недавно начала получать признание неблагодарных соотечественников.

Он был русским патриотом, в научных трудах которого национальным распрям и вражде противопоставлялись объединительные тенденции народов Европы и Азии. Он одним из первых предвидел евроазиатское содружество наций, некогда входящих в СССР.

"Он был яркой личностью в исторической науке, и звезда его будет еще долго сиять на темном небосклоне нашего потухающего времени", - скажет о Гумилеве академик Дмитрий Лихачев.

В субботу, 20 июня, Санкт-Петербург хоронил своего великого сына. Утром прошло отпевание в церкви Варшавского вокзала, затем гражданская панихида в особняке Русского географического общества, академиком которого он являлся. Похороны Гумилева состоялись на кладбище Александро-Невской лавры - самом светлом и самом престижном кладбище России.



В Междуреченске до сих пор не нашлось улицы, которой бы присвоили имя великого гуманиста, горькая судьба которого так трагически связана с именем этого города в Томусе.

**Юрий ПАНОВ.**

(Окончание. Начало в номерах газеты «Кузбасс» за 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 26 августа, 16, 23 сентября, 14, 21 октября, 4, 18, 25 ноября.).

\* \* \*

Этой, двадцатой публикацией, мы заканчиваем знакомство с повествованием Юрия Панова. Эти двадцать глав из книги - только часть из того фактического материала, который собрал автор. В редакцию пришли письма на "Сиблаг Гулага", были телефонные звонки. Одни читатели в чем-то дополняют автора, другие благодарят, третьи утверждают, что пласт жизни людской, которого коснулся Юрий Панов, уже "в зубах навяз" - все уже всем известно. Категории этих авторов несложно определить. Но вспомним слова Л.Н. Гумилева: труды Солженицына и то лишь попытка рассказать о том, что было. Словом, тема не закончена. Редакция "Кузбасса" благодарит Юрия Панова за предоставленное ей право публикации отдельных частей из своей книги.

**Анатолий ПАРШИНЦЕВ,**

редактор публикаций.

**Источник:** газета «Кузбасс»; <http://www.pressarchive.ru/>